

ВОЛШЕБНАЯ АКАДЕМИЯ

КАРИНА ДЕМИНА

ВНУЧКА БЕРЕНДЕЕВА
ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА

Волшебная академия (АСТ)

Карина Демина

**Внучка берендеева.
Летняя практика**

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Демина К.

Внучка берендеева. Летняя практика / К. Демина — «АСТ»,
2018 — (Волшебная академия (АСТ))

ISBN 978-5-17-109195-8

Неспокойно ныне в царстве Росском. Того и гляди отойдет царь-батюшка. Недовольны бояре. Плетет интриги царица, пытаюсь спасти единственное дитя свое. Беспокоятся маги. Бродит по рукам проклятая книга, по-своему судьбы мира перекраивая. Вот и отправляются студиозусы подальше от столицы беспокойной, в которой мятеж зреет. Глядишь, на свежем воздухе целее будут. Да только сколько ни беги, а со своей дороги не сойдешь. И встречает гостей проклятая деревня. Пробуждаются к жизни болота. Азары и те не дремлют, готовые кровь негодного наследника пролить. И как Зославе быть? Разве что поступить по совести, а там уж как Божиня судит...

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-109195-8

© Демина К., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

Глава 1. Подорожная	6
Глава 2. О кручинах молодца доброго	16
Глава 3. Об любовях и нелюбовях	30
Глава 4. Где еще сборы ладятся	36
Глава 5. Братовая	47
Глава 6. О девичьих радостях и горестях	51
Глава 7. Волчья ночная	57
Глава 8. О страстях ночных	63
Глава 9. О снах предивных	71
Глава 10. Облыжная	78
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Карина Демина
Внучка берендеева. Летняя практика

© К. Демина, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Глава 1. Подорожная

Грукали¹ колеса, прыгаячи по камням. А чем дальше, тем больше оных камней встречалось. Ох и неровная ныне дороженька – то ямина, то ухабина, этак, глядишь, до Выжаток и не доползем засветло. Я поводья подобрала и цокнула языком, поторапливая коняшку. Надо сказать, что скотина нам досталась на диво спокойная, сонная, идет-бредет, головой кивает, сама себя убаюкиваячи. И не пугают ее ни добры молодцы в броне да при оружии, ни ельник темный, ни даже сова, которая, на день не поглядевши, перед самой конской мордой проскользнула. Я и то охнула, семки рассыпавши, а кобылка наша только вздохнула тяжело, дескать, никаких условий для жизни.

Я поерзала.

Притомилась, честное слово, сидючи.

Оно-то, может, и полегше, чем в седле да на тряской конской спине, а все одно... С утра едем, в полдень только над речкой остановились, коням роздыху дать, да и люди не из железа, чай, кованы. Вона, упрели в своих кольчугах. Лойко Жучень красен сделался, что рак вареный. Ильюшка пот рукавом обтирает. Еська и тот примолк.

Молчит да на телегу нашу поглядывает.

На меня, стало быть.

И на девок, которым вроде бы как и делать тут нечего, а они на Еську пялятся круглыми глазищами. Ресницами хлопают, губешки поджимают, носы деруть. Конечно, боярыни, не чета мне.

– Эй ты! – Молодшенькая бойкой была, всю телегу облазила, а старшая-то хворала, в платки пуховые укуталась, только нос наружу торчит. Как не сопрела?

– Слышишь, девка? Моя сестрица желает знать, когда мы наконец приедем?

Я глазом на боярню покосилась.

А хороша.

Юна, конечно, но Люциана Береславовна сказывала, что в стародавние времена и в десять годков выдать замуж могли, да и поныне, бывало, только дитя народится, а его уже и сговорили.

– Что молчишь? Тупа слишком, чтобы понять? – Боярынька хлопнула себя по сапожку кнутом.

Все-то ей неймется...

А я голову опустила.

Дурновата? Может, и верно, что дурновата. Иная б за косу темную ухватила да дернула, на боярское звание не поглядевши. А я терплю что невестушку Арееву хворую, что сестрицу ейнюю... Как же, Ильюшка просил... Он за ними что за малыми ходит.

– Божиня помилуй. – Боярынька воздела очи к небесам, будто и вправду Божию узреть чаяла.

Я тож глянула. Ан нет, нету Божини... Вона, нетопырек пронесся только. Вечереет, стало быть. Под вечер нетопыри вылазят, мошек ловят.

Рухавые² они.

И до белого страсть охочие. У нас, в Барсуках, одной раскрасавице в волосья, помнится, вбился, вот крику-то было. Я представила, как оно б, ежели б нетопырь – и в боярские косы. И так мне смешно стало, что не удержалась, хихикнула. А с того боярыньку прям перекосило всю.

– Ты еще пожалеешь! – зашипела она и кулачком своим худлявым мне погрозила.

¹ Грукать – стучать, греметь.

² Рухавый – отличающийся легкостью, живостью в движениях.

А тут аккурат телега на очередную колдобину наскочила и так тряхнулась, что не усидела боярыня, плюхнулась поверх мешков не то с мукой, не то с гречей, но одно – пропыленных, грязных, о боярском достоинстве не ведающих.

Ох и зашипела!

Кошкой ошпаренной вскочила – и шусь в конец телеги, в закуток, в котором ее сестрица не то дремала, не то вовсе помирала. Пожалеть бы ее, да... не столь уж добра я, чтоб девку, на чужого жениха позарившуюся, жалеть. И вот вроде ж разумом понимаю, не ее то вина и не Ареева, а сердце разума не желает слушать. Сердцу-то едино, кто виновен, вот и невзлюбило что красавицу Любляну, что сестрицу ее молодшую.

Оно-то невзлюбило, а я ничего.

Терплю.

Сижу вот. Вожжи в руках держу, семки лузгаю да понять пытаюсь, как оно так вышло, как вышло?

Весна была.

Пришла духмяной волной первоцветов, а следом за ними – покрывалом цветастым, где каждая ниточка – наособицу. Вспыхнула, сыпанула на землю щедрым теплом, дождями пролилась... да и ушла.

Изок, первый летний месяц, стрекотом кузнечиков полный, сессию принес, которую я, к превеликому диву своему, сдала. И не сказать, что сие далось столь уж тяжело. Нет, над книгами пришлось посидеть, да привыкла я к тому, видать, что головой, что задницей... посидела.

Ноченок не поспала пару.

И сподобилась.

И главное ж, супротив опасений, никто не лютовал. Фрол Аксютрович был мягок, Марьяна Ивановна – добра, Лойко и того простила с евонными зельями, которыми только ворогов травить. Люциана Береславовна, конечно, вопросами меня закидала, что навозную яму прелой листвой, да сама ж меня и готовила, а потому нестрашны оказались мне те вопросы. Ответила, сама только диву давалась, как оно выходило-то, что и то знаю, и еще это, и даже то, про которое вроде краем уха слышала, да чего услышала, то и припомнила.

Ага...

Сдала, стало быть.

К огромному бабкиному неудовольствию. Она-то, уставши на перинах леживать – никогда-то за всю жизнь столько не лежала, как за эти два месячика, – с новой силой взялась меня вразумлять. Мол, чего учиться? Этак и до седых волос в Академии застрять можно, а жизнь, она идет-то...

Бежит, прискакиваючи.

И в первый день червения усадила я таки бабку на подводу. Ох и мрачна она была, что сыч поутряни. Губенки поджала. В шубейку, Киреем даренную, укуталась, золотом обвешалась, как только силенок хватило с обручьями да перстеньками сладить. Станька при ней. И жаль ее, поелику ведаю, что вся бабкина обида на Станькину безвинную головушку выплеснется, а оставить в столице... и бабку без пригляду...

– Ты не думай, – Станька меня по руке погладила, – я все понимаю. Захворала она, а поправится – и прежней станет.

Я только вздохнула. Может, конечно, и станет, да... Чем дальше, тем меньше в то веры. Но что уж тут поделаешь? Не отказываться же? Пусть и крепко переменилась моя Ефросинья Аникеевна, а все одно родная, и не бросишь ее, не выставишь за ворота, сказав людям, будто ведать не ведаешь, знать не знаешь...

– Ты ее до тетки Алевтины доведи. Она, глядишь, и сподмогнет.

– Ишь, шушукаются, – не удержалась бабка, на мешках с шерстью ерзаючи. – Что, сговорились? Иль, лядашие... бабку спровадят, а сами блудить... За вами глаз да глаз нужен...

И пальчиком погрозила.

А на том пальчике перстней ажно семеро. Царской теще меньше носить невместно.

– Ох, не те ныне времена пошли, не те... – Бабка головой покачала. – Пороть вас некому... Был бы жив твой, Зослава, батюшка, он бы за розгу взялся...

Поцеловала я бабку в напудренную щеку – без пудры она, как и без украшений, ныне на люди не казалась, а я и не спорила, пушай, если ей с того легче, и сказала так:

– Свидимся еще... я летом приеду.

– Кому ты там нужна? – ответила она и отвернулась.

Обидно?

Обидно. И горько. И от этой горечи душа кривится, корежится, что дерево, в которое молния ударила. Ничего, не перекорежится, верить надобно. В то, что сыщется у тетки Алевтины среди трав проклятых тайное средство, которое бабке моей разум вернет и душу залечит. В то, что станет она, как прежде, мудра и к людям добра. Что не забидит Станьку, которая сирота и деваться ей некуда. Что нонче же летом возвратнуся я в родные Барсуки... и что не одна.

Муж?

Я сжала половинку монетки, которую ныне носила в мешочке, а мешочек – на веревочке. Веребочкой этой руку обкрутила да слово особое сказала, чтоб не развязалась она, не рассыпалась. Ведаю, что монетка закаятая, захочешь – не потеряешь, а все одно...

А в другом мешочке корень, теткой Алевтиной даденный.

И знаю, что поможет этот корень, надо лишь...

Кому?

Еське, который бабку провожать явился и пряников принес в промасленном кульке? Евстигнее? Он по-прежнему дичится. Лису? Глаза его сделались желты, и знаю я, чую, что треснуло кольцо закаятья. И надобно бы сказать о том, но молчу.

Не может такого быть, чтобы только я сие увидала. Вона, Архип Полуэктович тоже на Елисея поглядывает так, с хитрецей, а ничего не сказывает... так и мне не след.

Братец евонный, напротив, сделался мрачен и задумчив. Он ли?

Емелька тишайший?

Егор?

Лойко? Ильюшка задуменный?

Кто приходил ко мне? Я ж помню разговор, каждое слово. И горечь. И обиду. И за себя, и за него, хотя, казалось, что нелюдя жалеть, а вот... Знаю, что из них кто-то, а кто...

Бабку провожала до самых ворот столичных, слезы держала, да только, как подвода скрылась за холмом ближайшим, разрыдалась. И Кирей, меня приобнявши, молвил так:

– Все переменится, Зослава. И надобно верить, что к лучшему...

Ох, где бы веры этой прибрать?

Второй день.

И терем мой опустевший.

Щучка сгинувшая. Куда и когда? Кто ж ведает?.. Просто вышла одного дня за ворота и не возвратнулась. Еське я об том сказала, а он тихо выругнулся.

– Вот ведь... сколько волка ни корми, а...

Но знаю, что искал. Сама ему волосья рыжие из гребешка выбирала, сама приносила рубаху ношеную да простынку, на которой Щучка давече леживала. Только не справилось закаятье.

– Закрылась, дура стоеросовая! – Еська только сплюнул. – Ну и ладно... Я ее не обижал. Сама виновата.

И вновь с того грустно сделалось.

А на третий день терем мой вновь ожил. Сперва Кирей явился – с дарами и такой любезный-прелюбезный, что сразу я неладное заподозрила. Он мне шелками азарскими коридор выстилает, а я только и гадаю, чего ж этакого он удумал.

– Вот смотри, тебе зеленое к лицу. – Он накинул на меня шальку, из шелковой нити плетенную, да не просто – кружевом. – Настоящая княгиня.

А сам уже ларчик раскрывает, вытаскивает серьги тяжеленные бурштыновые³.

– Ты, – говорю, – не юли...

Сама ж шальку снимаю.

Тонюсенькую.

Легонькую.

А греет-то... Без магии не обошлось. И вижу серед нитей обыкновенных – особые, заклатья...

– Говори прямо...

Серьги и мерить не стала, как и браслеты с красными камнями. Кирей же вздохнул и почесал затылок.

– Ситуация, – сказал он, на стульчик усаживаясь. Ноги выпростал на половину комнаты. – Неоднозначная. Я бы сказал, парадоксальная.

– Чего? – Но тут вспомнила, как за слово энто ругана была не единожды наставницей, и поправилась: – Что?

– Парадоксальная, – повторил Кирей, будто со второго разу понятней станет. – Такая, что... люди не поймут. Про невесту моего родственничка ты знаешь, так?

Кивнула.

Как тут не узнаешь, если про эту невесту и тараканы по углам шепчутся, да ладно бы тараканы – но и боярыни наши, которые тараканов не в пример зловерней. И главное, шепчутся так громко, чтоб услышала я, до чего боярыня Любляна собой хороша.

И молода.

И родовита.

И вовсе кругом прекрасна, каковой мне, хоть ты семь шкур сыми, в жизни не стать.

– Вот... – Кирей правый рог поскреб. А оный рожек у него кривоватенький, самую-самую малость, а все одно. – И раз уж такое дело... у Любляны брат ведь имеется, это ты тоже знаешь.

Кивнула.

Давеча с ним битый час рисунки рисовали, щит новый составляючи.

– А раз так, то... неприлично девку при живом-то старшем родиче замуж из царского терема отдавать. – Кирей поерзал. И на всяк случай шкатулку свою от меня отодвинул. – Да и Илья челобитные пишет, просит дозволения с сестрами свидеться, а лучше передать их под опеку ему...

И поднос убрал.

А чего? Я только булочку взять хотела. Мне с булочкой сердешные горести легче переживаются.

– И вот матушка решила... – Кирей замолчал и огляделся.

– Говори. – Чую, ничего хорошего с решения евонной матушки мне ждать не след.

– А драться не станешь?

– Не стану, – пообещала я и рученьки за спину спрятала.

– Хорошо... В общем, дело даже не в челобитных. Он о том еще в прошлом году писал, а теперь... и не в приличиях. Плевать ей, честно говоря, на приличия. Но девчонки эти странноватые. И надо бы их из дворца убрать.

Левый рог он тоже поскреб и пожаловался:

³ Бурштын – янтарь.

– По весне всегда чешутся... подрастают... Еще пара лет, и подпиливать придется.
Я покивала, мол, сочувствую.

– И вот... если их отпустить, то куда? У Ильи своего дома нет. Когда батюшку его обвинили в измене, то и имущества он лишился. С одной стороны, конечно, матушка может волей своей вернуть Илье дом, но там уж пару лет как пожар приключился...

Ох, мнится мне, что не сам собой приключился.

– Одни уголья и остались. – Кирей сел ровно. – А на тех угольях... я был там... еще лет сто, если не двести, жить нельзя. Не будет добра тем, кто поселится. Вот... Другое поместье дать? Не так их много, свободных, чтоб в столице... И ко всему, ей бы хотелось, чтобы ты с боярынями подружилась.

И вздохнул тяжело-претяжко.

Руками развел.

А я только рот открыла... Она сначала моего жениха этой самой Любляне отдала, а теперь желает, чтоб я задружила?

– Я ей сразу сказал, что дружбы у вас точно не выйдет, – оправдываясь, произнес Кирей. И отодвинулся. Верно, хоть и обещалась я не биться, да глядела не по-доброму. – Но матушка... порой ее сложно переубедить... и завтра она их отпустит. Формально – передаст под опеку брату. До свадьбы, которая состоится в первый месяц осени.

Тихо стало.

Слышно, как гудит под потолком одинокая муха. И молчали мы, друг на дружку глядя, думали... Об чем Кирей – не ведаю. А я все про свадьбу, которая...

Будет ли?

Первый месяц осени.

До него еще б дожить. Лето только-только началось.

– Зослава, – Кирей пальчиком ткнул меня в плечо, – ты живая?

– Живая, – вздохнула я.

– Согласная?

– А вам откажешь?

– Да как тебе сказать, в теории, конечно, можно, но... матушка...

Ага, которая царица, с ейными планами... супротив их идти, что граблями ветер чесать. Вроде бы и можно, а поди попробуй, прослывешь дурнем, ежели вовсе ветер грабли оные из рук не вывернет да по лбу не приложит.

Я рученькой и махнула.

Мол, пушай едут.

– А чего ты пришел, а не Ильюшка?

Уж кому бы за сестер просить, так ему. Кирей плечами пожал и ответил:

– Меня матушка попросила, а он... может, неудобно?

Неудобно на чужой лавке спать: все плечи смулишь.

Вот так и вышло, что через пару деньков гостей я встречала. Раньше? А не вышло раньше. Терем же к такому визиту сготовить надобно. Там оконца помыть, стены поскресть, дорожки от пыли выбить да из зевов печных пепел повыгребсти.

А заодно уж украсить что стены, что полы плетениями рисованными.

Ох, не прошла мимо меня наука Люцианы Береславовны, даже по нраву пришлась, как распробовала. Вроде ж и силы не берет, да и вовсе немашечки магии в линиях черченных, а на многое они способны. И гостюшки мои меня в том лишь убедили.

Подкатил к воротам возок царский.

Коней тройка. Ногами тонкими перебирают, шеи гнут, красуются. На дуге у заводного бубенцы сладкоголосые звенят-перезваниваются. В гривах пристяжных ленты атласные. Сбруя позолочена.

Возок... ну возок и вовсе золотым мнится.

Задние колеса огромные. Передние махонькие. А меж ними желудем – сам возочек. Оконца круглые, за цветными стеклышками не видать, что внутри. На дверцах корона.

На крыше будто прыщ, из которого пук перьев золоченых торчит.

От такой красоты я и обмерла, дар речи утративши.

Но Кирей меня локотком подпихнул. И, на мрачнющего Арея взгляд бросивши, приобнял. Тот от злости ажно зубами заскрежетал, с лица сбледнул крепко, но что тут сделаешь? Не евоная я невеста...

Он к возку шагнул и дверцу открыл. Отступил, позволяя холопу скамеечку-приступку поставить. Руку подал. Я и застыла, дышать позабывши, когда этой руки другая коснулась. Пальцы белехоньки, прозрачны почти. Ноготки жемчугами.

И жемчугами же рукавчик длинный расшит.

Выплыла боярыня Любляна Батош-Жиневская лебедушкой белой. Глазки потупила. Бледна. Бела... и болезна? А за нею сестрица выпорхнула. Этой-то подмога без нужды. Только шубку, горностаем отороченную, поправила и дом мой окинула взглядом презрительным.

– Вот, значит, где нам обретаться ныне судьба... – Блеснула в глазу слезинка, но не для меня сие, для Ильюшки, который стоял столпом соляным, на сестер глядячи.

От радости ль?

– Доброго дня, – девица чернявая ко мне повернулась, – от имени моей сестры я приветствую гостеприимную хозяйку...

– Зославу, – подсказал Кирей и внове по плечу меня погладил. А сам-то не на боярынь глядел, на Арея. Левым глазом.

Правым – на Ильюшку.

Этак и окосеть недолго... надобен он будет Велимире, мало что рогастый, так еще и окосевший?

– Зославу, – молвила девица, меня разглядывая.

А взгляд-то нехороший.

Глаза темны, но не разобрать, зеленые, аль серые, аль еще какие. Но главное, что от глазу подобного младенчики крикавицу хватают. Бывает, глянет кто, даже краешком самым, а после дитё кричит, заходится, и не спасти его ни сиськой, ни люлькой, ни даже маковым отваром, который детям давать – дело распоследнее. Бабка моя крикавицу лечить умела, да и не хитра наука – под столом дитяtko трижды прокатить.

Эта ж уставилась.

И видно... а все и видно в глазах ейных. Что, мол, боярыня она, да не из простых, с кровью царской благословенная, а я – холопка давешняя. И мне б кланяться.

Дорожку красную катить.

Молить о милости.

А я тут стою...

– Что ж, Зослава, – губы дрогнули, в улыбке складываясь, – мы с сестрицей с дороги притомились...

И вновь глядит.

А недовольная... с чего б? И куда им томиться, когда той дороги – от царских палат до терема моего – тихой ходьбы час. Они ж не ножками, на возку ехали.

Кирей рученьку сжал.

Боярынька вовсе перекивилась.

– Дозволено ли, – голос ее сделался сух и скрипуч, – будет нам войти и отдохнуть в доме твоём?

А сама на притолоку глядит, где я нонешней ночью узор малевала. Хороший такой узор из заветного альбома Люцианы Береславовны.

Ильющка тоже к дому повернулся.

И к сестрице.

Открыл рот, желая сказать что-то. Кирей же плечико мое сдавил сильнее. Не молчи, Зослава. А я чего? Улыбнулась, как сумела.

– Будьте в доме моем гостями желанными...

Ох, полыхнули глаза боярыни гневом.

– Значит, приглашаешь войти?

– Приглашаю... войти...

– Меня и сестрицу мою?

– Тебя и сестрицу твою...

Она юбки-то подобрала и ко мне спиной повернулась. По ступеням не взошла – взлетела, дверью только хлопнула, ключницу мою, женщину степенную, Киреем мне в подмогу приведенную, напугавши.

– Простите мою сестру, – прошелестела Любляна голоском слабым. И на Ареевой руке повисла, белым-бела, глядишь на нее и знать не знаешь, проживет ли боярыня еще денечек.

Мнится, и денечек.

И другой.

И третий... и до осени дотянет, до самой свадьбы... И пусть говорят мне, что приневолили ее, да вижу я, как она на Арея глядит. От этого взгляда злость во мне появляется, и такая, что просто силов никаких нету терпеть.

– Спокойно, Зось. – Кирей к самому уху наклонился. – Улыбайся шире... Чем оно поганей, тем улыбка шире.

– А щеки не треснут? – тихо же спросила я.

Но куда деваться? В дом пошла. К гостям дорогим. За стол звать, беседу беседовать. Ну, за стол-то я усадила, и мнится, что стол этот был мало царского хуже.

Были тут и гуси с капустой квашеной печеные.

И вепрячье колено. И караси жареные, и белорыбица рассыпчатая с подливой клюквенной. И пироги всяко-разные. И даже цельный порось молочный с яблоком в пасти.

Клецки в молоке.

Сливки коровьи с сахаром топленые.

Ягоды вываренные, в тонюсенькие лепешки уложенные да скатанные трубочками...

Иного я сама не едала. Да только за столом энтим кусок в горло не лез.

Сидят боярыни, старшая подушками обложена, потому как зело слабая. Младшая пряменька, по правую руку сестрицы устроилась. Эта ест так, будто в тереме царском впроголодь их держали, а старшей знай кусочки махонькие подкладывает.

Любляна то клюковку в рот положит и скривится.

То от крыла лебяжьего отщипнет и вздохнет тяжело-претяжко.

То лизнет шляпку груздя соленого и вовсе слезу пустит, будто бы жаль премного ей этого груздя... А младшая шляпку с вилки снимет и в рот сунет, куриную ляжку закусывая. И кусок свинины положит. И репы печеной с пряными травами. И горку из яиц перепелиных копченых. И жует, главное, сосредоточенно, будто не было дела важнее.

– Растет она. – Любляна платочком слезинку поймала. – И нервы... С нервов Маленка ест, как не в себя... после мается...

Арей кивнул:

– А у меня наоборот. Надо бы есть, но не могу. Чуть поем, и живот крутит.

– Льняное семя пить надобно. – Мне это молчание поперек горла было, на похоронах и тех веселей. – А еще я отвар сделаю...

– Царские целители уже делали...

– Я не царского, но от глистов. – И Маленкин взгляд недобрый выдержала. Не младенец, чтоб криком зытись.

– С чего ты, девка, решила, будто у моей сестрицы глисты? – У Маленки ажно кусок хлеба изо рта вывалился.

– И не только у нее. Это ж признак первейший, когда один ест и наесться не способен, значит, внутри у него черви сидят, которые на этой еде жиреют. А если червяков много плодится, то набиваются они в живот, и еда в него уже не лезет.

– Ужас... – Любляна глазки прикрыла.

– Не слушай эту дуру. – Маленка сестрицу по руке погладила и к Арею повернулась: – Разве ты не видишь, что эти разговоры не для стола? Она и так ничего не ест...

– Может, – Арей криво усмехнулся, – и вправду стоит отвару какого выпить?

Любляна всхлинула, и по щеке ее скользнула хрустальная слеза. Только, может, и черства у меня душенька, а не поверила я оной слезинке. Помнится, сказывала как-то тетка Алевтина, конечно, не мне, но бабке моей, про то, как ее в Конюхи позвали к женщине одной, которая все помирала и помирала. Мол, и есть ничего не ест, и пить не пьет, росинкой маковой за целый день живая, и не понять, в чем душенька держится. И что мучают ее боли страшные, нутряные, цельными днями только лежит и стогнет жалостливо.

Тетка-то Алевтина поехала.

Не может отказать она человеку, когда оный головой о порожек бьет, умоляючи. Собралась. Травки свои прихватила. Оно-то, может, смерть и незваная гостьюшка в доме, да только порой долгожданная. Потому как коль и вправду хвороба нутряная, канцером в Академии именуемая, приключилась, то спасения от нее нетушки, одно в силе Алевтининой – помочь по-своему, от боли и мук избавивши. Но не о том же ж... Приехала она и глядеть, что женщина та вроде б и лицом бела, болезнь, да только телом уж обильно зело. С голоду так не опухнешь.

Да и жаловаться жалуется голоском слабеньким, а зятя своего шпынять – так сразу голос и прорезается. А после спохватится и стонет, стонет, ажно заходится. Тетка-то Алевтина сразу скумекала, что дело-то непростое. Велела она всем уйти, мол, вселился в болезную дух зло-вредный и тетка Алевтина будет его выманывать и караулить. И главное, что невозможно никому, кроме болезной и самой Алевтины, в доме быть, потому как уж больно хитер дух. Выскочит из болезной и кинется в кого другого. Выставила, значит, что мужичка измученного, что жену евонную, что деток малых. А сама села с болезной духа караулить. Та-то глазоньки прикрыла, рученьки на грудях сложила и охает, мол, тяжко. Тетка слухала-слухала да и придремала будто бы. Тогда-то больная и перестала помирать.

Один глаз открыла.

Другой.

Глядит, что спит знахарка приглашенная, и сама-то с полатей сползла да к печи, где щи вчерашние остались. Встала и ложкой наяривает, ажно похрюкивая, да колбаской закусывает. За колбасу эту, сгинувшую из погреба, кот был битый еще.

Ну а как тетка-то за руку болезную, которая не болезная вовсе, схватила, так и стала та плакаться, что, мол, смертушку свою чует, вот и решила в последний раз щец откусать. Ага... тетка-то ей разом объяснила, кто такова. И что не лечить прибыла, лечить-то она не обученная, но страдания облегчить.

А ежели не покается обманщица, то и облегчит.

Не ей, вестимо, родным ейным, которые вокруг болезной мало что хороводы не водили.

Там-то все просто... Сперва взаправду приболела, спину скрутило крепко. А после отошла, да понравилось ей болеть. Лежишь на печи, пока все по хозяйству колотятся... Красотень.

У боярыни из всех хлопот хозяйских – жемчугам пересчет весть да ноготки тряпочкой выглаживать, чтоб ровны были да хороши.

– Мне жаль, дорогая сестрица, – Маленка губы поджала и на меня зыркнула, – что тебе приходится выносить все это...

Любляна всхлипнула.

И вновь платочек к глазу прижала. К левому. А правым на меня глядит, и глаз этот что из стекла сделанный, не живой. И я гляжу, гляжу... а ничегошеньки выглядеть не могу. Уж и так, и этак...

Посидели мы за столом.

А после гостыюшек в покои их я проводила.

Хороши покои.

Ковров в них привезли шелковых, и полы укрыли, и стены, вроде как для теплоты, а что уж там за коврами этими, то... Да, может, оно и нехорошо, но вот не было у меня им веры. И гляжу на сестриц, ажно побелели обе. Старшая пальчики к вискам прижала, глазоньки закатаила, того и гляди сомлеет. Младшая хлопочет да на меня позыркивает.

Она-то и не выдержала.

– Что за дом этот? И комнаты... никак самые худшие выбрали. Конечно, кому мы, сироты горькие, нужны? А ты, жених, скажи, чтоб в другие переселили...

– А чем эти нехороши? – подал голос Илья, порог переступивши.

Значит ли, что не он это? Если сумел? Или... В начертательной магии собственно магии капля, оттого и ненадежной она считается. Да и не полный узор я рисовала, а так... набросок махонький...

– Душно здесь! – Маленка ноженькой топнула.

– Окошко открой.

– Тогда холодно будет!

– Шубу вздень.

– Сквозняки...

– Перестань, – Илья к сестрице подошел, – раньше ты не была такой капризной.

– Раньше и ты не был таким равнодушным.

А у самой губы-то дрожат, того и гляди расплечется. Но нет, поджала, закусила едва ли не до крови и к сестрице своей болезной кинулась, обняла за плечи, зашептала, но громко так, чтоб слышали все:

– Ничего, дорогая... Вот посмотришь, все еще переменится. Потерпеть надобно... самую малость потерпеть.

Вот с того дня они в моем тереме и терпели, девок дворовых капризами изводя. То, волосы расчесывая, дернут гребешком. То летник мятый поднесут... иль не мятый, а иного цвету, чем боярыня просила. И все-то им неладно было. Вода для умывания холодна, для питья – горяча. Мед несладок, яблоки кислы, а еда и вовсе несъедобна. И со мной... В первый-то день еще держались, а после Маленка в глаза заявила, что, дескать, сама я холопка, а если и не холопка, все одно звания низкого, недостойная и лицезреть боярынь, не то что за столом одним с ними сиживать и разговорами глупыми докучать.

А я что?

Хотела ответить, да стерпела.

Не из-за страху перед матушкой-царицей, а потому как Кирей просил. И Ильюшка – хоть он-то просить не приучен – явился в первый же день, встал, глядит так... А глаза больные-пребольные. Да и не утерпела я.

– Что ж ты, – говорю, – добрый молодец и закручинился?

А самой не то смеяться охота, хохотать во все горло, не то слезами дурными зайтись.

– Неужто беда приключилась какая?

– Приключилась, – молвил Ильюшка в ответ и щеку потер. – Ты сама эту беду видывала.

– А мне мнилось, что не беда это, а сестрицы твои родные, которых тебе возвернули.

Он же ж тяжело вздохнул. Огляделся. И спросил:

– Верно, что ты заглянуть в человека способна? В прошлое его? Я... Не всегда и все сказать разрешено... а коль увидишь, то вины в том, в кого глядишься, навроде и нету.

– Так ты...

Он голову вздернул, что жеребчик, который того и гляди на дыбки подымет, и сказал:

– Гляди, Зослава...

Глава 2. О кручинах молодца доброго

Глянула я. Чего ж не глянуть, когда человек сам того просит? Я-то к тайнам чужим попри-
выкла, а дар тренировать надобно, так мне все говорят. Только как его тренировать? На ком?

На Ильюшке вон.

Сел напротив меня. И вперился взглядом. Глаза пучит, разве что не трескается от натуги,
будто бы с того память его наружу полезет.

– Погодь. – Я рученькой махнула. – Ты сперва скажи... ты ж сам писал, чтоб их тебе
отдали.

– Писал, – кивнул Илья.

– А теперь будто и не радый?

– Твоя правда, не радый.

– Почему?

Тяжко мне с ними, с боярами. Вот у простых людей и в жизни просто. А тут напридумыва-
ют себе – в три дня не разгребешься.

– Потому что не знаю, что мне с ними делать. Я давно не знаю, что мне делать... – Илья
потер глаза, покрасневшие, будто пропыленные. – Мой отец... он был младшим, понимаешь?
Есть царь... я его как родню воспринять не способен. Есть дядька Миша, который в Акадэмии
ректором целым. А есть мой отец, вроде и маг, а не маг... и ни туда, ни сюда... К государевой
службе он не пригодный. Пытался, а ничего не вышло. Нет способностей. Полководец? Тоже
никакой. Куда ни сунься, а все одно без таланта... как назло.

Память-ледок?

Не ледок – лед старый, сизоватый, огрубевший. Такой и по весне до последнего держится,
исходит слезой водянистой, грязной, а все одно не спешит отступать.

Опасный.

В нем, износившемся за зиму, трещины рождаются внутри. С тихим вздохом, со скрипом,
человеческому уху не слышным. Только и успеешь, что подивиться, а он уже расползается.

Лед-ледок.

Холод ледника, в котором девка дворовая лежит, ногу подогнувши. Задрался подол, и
нога эта, белесая, в синих жилочках, видна.

А еще коса растрепанная.

– Вторая уже, – голос отца доносится словно сквозь вату, Илья не способен отвести
взгляда от ноги.

Или косы?

Или лица девичьего, ужасом искаженного? Он ведь знает ее. Авдотья... Хохотушка...
Рыжевата, конопата... всегда с улыбкой, всегда готова угодить, не потому как он боярин, а
просто.

– Споткнулась, наверное. – Отец повернулся спиной. – Вели, чтоб убрали. И сегодня я
жду тебя, Илья. Есть к тебе серьезный разговор.

Авдотью выносили хмурые мужики. При доме они появились недавно и были мрачны,
неразговорчивы. Девки, вот те шептались, хватались за простенькие амулетики.

– Не ходи, боярин. – Это Малушка, Авдотьяна подруженька задушевная.

Одногодки.

Из одного села в дом взяты были. Матушке служили, да как захворала матушка, к ней
другую девку поставили, белую и смурную, но отец уверял, что знахарка она, ученая.

– Неладно в доме. – Малушка глаза отводит, а те красны. – Не ходи к нему. Боярыня-
матушка ушла и не вернулась. Сестрицы твои... это они...

– Что ты говоришь?

Малушка на конюшне его выловила. Конюшни отцовы Илья всегда любил. Пахло здесь хорошо. Да и тихо было. Кони всхрапывают, голуби курлычут. На сердце покой. Вот и пришел успокоиться.

– То и говорю. – Малушка носом красным шмыгнула. – Что неспроста Авдотья сгинула. Они это... Сначала он подвалы закрыл. С чего? Всегда мы убирались, не самому же рученьки марать... Потом в доме стало беспокойно... Хозяин больше молоко не берет, хотя ж самое свежее оставляем. – Она всхлипнула и не удержалась. – Авдя сказывала, что боярыни переменялись... что как вниз сходили... силу тянут... она им волосы чешет и слабнет, слабнет... перед глазами мушки скачут... а они говорят...

– Может, заболела твоя Авдотья.

Разговор был неприятен.

– Всегда здоровая была.

– Прекрати.

Следовало бы прикрикнуть на девку, чтоб перестала языком попусту молоть. А он слушал.

– Здоровая, мне ль не знать. – Малушка всхлипнула тоненько. – Я ж при ней была... волосья чесала. Красивые были. Мягкие да гладкие. А волосья у бабы – первое дело. Когда волос тусклый, то хворь внутри сидит. У нее ж гладенький...

Зашелестело что-то, и стихли голуби, а старый отцов жеребец, которого в доме держали из памяти о славных его конских годах, всхрапнул, вскинулся, застучал копытами по настилу.

И холодком потянуло.

Жутью.

– Она мне жаловалась, что батюшка ваш переменялся. Вы-то за книгами его не видите, а он иным стал. Молчит...

Отец никогда особой разговорчивостью не отличался. А что изменился, так все меняются. Отец же с братьями рассорился, хотя и не говорил о том Илье, да Ильюшка не слеп и не глух, знает, что в мире делается. Не по нраву отцу царева женитьба, и жена его, и то, что в тереме творится.

– ...А глянет, так прямо душа наизнанку. – Малушка плакала, уже не чинясь, и слезы по лицу растирала с соплями вместе. – Ваша матушка сказывала, что про нее вовсе забыл, а прежде любил крепко... теперь и не кажется, а глянет – и перекривится весь...

Бывает.

Да, отец матушку любил, пусть и не ровня они, пусть и глуповата, всполошна, склонна к пустым истерикам, но любил ведь.

– Кошка наша сгинула, и куры черные повывелись все. А на птичьем дворе их не одна дюжина была. Повадились шашок⁴ таскать... Только никакой не шашок это. Шашку что белая, что рябая, что черная – едино, этот же только черных и перебирал. Козла батюшка ваш прикупил. А после тот козел и сгинул.

Она лепетала всякую чушь, и от этого лепета начинала болеть голова.

– Матушку вашу вниз повел. И она пошла. Своими ногами пошла. Была здорова и весела. Волосы я ей заплела на две косы, на особую манеру. Ленты выбирали вместе. Зеленые. В цвет летника и каменьев, которые в заушницах. А вниз пошла – и не вернулась. Меня к ней не пустили, будто бы я за боярыней плохо ходить бы стала. Я ее любила, как мамку родную. Она ж ласковая, не злобливая. А когда и прикрикнет, так после повинится. И летники свои, которые поплоче, отдавала... и еще ленты. А они говорят, заболела... Вы ее не видели, верно?

И глаза строгие, с упреком.

⁴ Хорек.

Оттого, что упрек этот в самое сердце попал, не по себе становится. А ведь и вправду, не видел он матушку. Сначала отец отослал в загороднее поместье, проверять счетные книги. И ведь как чуял – отыскал Ильюшка недостачу, да солидную. Потом за конями отправил на Вяжницкую ярмарку, тоже неближний путь, но и то верно, что там жеребчики самые лучшие. А потом...

– Что, вспоминаете, отчего вы к матушке не заглянули ни разочку? – Малушка вытерла слезы рукавом. – А и не только вы! Про нее туточки будто запомнили все. Я сама, бывало, весь день кручусь-верчусь, а попадет в руки вещица ее, так и вспомню, что есть у меня боярыня. Болеет... Остальных поспрошайте.

– Пospрошаю... тьфу на тебя, расспрошу. – Илья потер лоб.

А ведь и вправду.

Третий день как он вернулся, про матушку же... спрашивал, конечно, спрашивал. Когда приехал. И отец что-то такое говорил... Про болезнь говорил? Или про то, что беспокоить ее не надо? Или... она спала? Утомилась? Не желала видеть?

Ведь собирался же идти.

Гостинцев привез.

И еще книжицу, из тех, пустых, которые про великую любовь рассказывают. Матушка до чужих любовей очень охоча была... А не понес. Куда подевались?

– Вот, – Малушка пригладила встрепанные волосы, – и сестрицы ваши про нее забыли. Но сами переменились... Из девок силы тянут, улыбаются, в глаза глядят и тянут... Меня к ним пошлют. Сначала Кажинка ходила, которую ваша матушка ключницей ставила, потом Агнешка. А теперь и мой черед. Страшно-то как... – Она часто-часто заморгала, силясь управиться со слезами. – Не ходите вниз, боярин. Ваша матушка, когда моя захворала, дала денюжку на лекаря и еще после пожаловала. И сестрице моей приданое справила... три отреза. Она добрая была... и добром за добро... Мне жизни не будет, всех он извел, так хоть вы... уходите. Скажите, что дело какое есть. Вы же ж магик, а не просто так...

Ильюшка кивнул.

Магик.

И в Академию все ж поступит, хотя батюшка о том слышать не желает, только и твердит, что дар слабый, что нечего время за книгами терять.

Потом.

Сейчас надобно разобраться, что в доме происходит.

Куры. Козлы.

Матушка больная.

Вот с матушки он и начнет.

– Все будет хорошо, – пообещал Илья и в лоб Малушку поцеловал. А после уж подумал, что так только покойников целуют. И повторил, отгоняя недоброе: – Все будет хорошо...

Память-лед трещит, расплзается, и в трещины сочатся запахи. Сытный дух печева, пирогов, которые расчиняли спозаранку, а пекли ближе к полудню, что с дичиной, что с рыбой, с грибами тоже. Или с творогом, вишней.

Большими и маленькими.

Темными. Или только малость самую подрумяненными. Украшали косицами плетеными, бисеринами из сахару да клюквой вяленой. Порой целые узоры вывязывали.

Щука на огромном блюде развалилась, раззявила зубастую пасть, в которую вставили яблоко моченое. Щучьи бока сметаной мазаны, а под брюхом греча рассыпана.

Отец почти ничего не ест. Ковыряет в тарелке Любляна, которая ныне бледна и сторожится окна открытого. В конце концов не выдерживает:

– Закройте уже! Сквозит... Так и заболеть недолго. – Ее личико недовольно кривится, а меж бровок складка появляется. – Нормально закройте, ставнями!

Младшая сестрица ест, не глядя по сторонам, хватает кусок за куском и глотает, почти не пережевывая. И это на нее не похоже. Уж она-то была разборчива в еде, порой и чрезмерно. А от рыбы всегда носик свой прехорошенький воротила, мол, тинной ей пахнет...

Ест.

И глотает.

– Набегалась за день. – Она заметила его взгляд и улыбнулась так кривоватенько. – Вся в хлопотах...

– Какие у тебя хлопоты? – кривится Любляна.

Они друг дружку не то чтоб вовсе не любили. Любили. Сестры как-никак, а вот... была ревность... и капля зависти. Были ленты краденые и слезы литые, когда мнилось, что кого-то обижают. Но все это было тихо, по-родственному.

А сейчас неспокойно за столом.

И мыши шубуршатся.

– А куда наша кошка подевалась? – поинтересовался Илья, подцепляя на серебряную вилку грибочек.

И заметил, что приборы-то у батюшки простые, из железа деланные, пусть и украшены хитро, а куда серебро подевалось? Он свою вилку берег. При себе носил. Сказывал, что дарена она ему отцом была, на счастье. Потерял?

Тогда весь терем до досочки перебрали бы.

– Кошка? – Отец хмурится. – Понятия не имею.

– Сбежала, наверное, – дернула плечом Маленка.

И Любляна добавила:

– Стара уж была. Время ей пришло подыхать, вот и ушла из дому. С кошками оно всегда так.

– А с курами что?

– С курами? – Светлые бровки вверх взметнулись. И на лице такое недоумение искреннее, что невольно стыд берет за глупые вопросы свои. – А что с курами? Нестись перестали?

– Все черные куда-то делись.

– Да? – И ротик приоткрылся.

Хороша Любляна. В матушку пошла хрупкой воздушной красотой. И не даром женихов она с малых лет перебирает...

– Что с матушкой? – Он отложил вилку, понимая, что не полезет кусок в рот.

– Так болеет, – равнодушно ответила Маленка. – Давно болеет...

– Чем?

– Я откуда знаю? Болезнью.

Отец смотрит пристально и губу жует. И глаза... чужие глаза. Незнакомые.

– Я навестить ее хотел бы...

– Навестишь.

– Сегодня.

– Конечно, сегодня. – И тише добавил: – Чего тянуть-то?

Память.

Не только запахи ее рушат, но и звуки. Тихий скрип половиц, будто идет кто-то. Вздых за спиной, такой муки преисполненный, что поневоле становится страшно. Обмирает сердце. И вновь колотится о ребра. Чего бояться?

Вот он, дом родной.

Здесь Илья на свет появился, здесь вырос. Каждый закоулок ему знаком.

И что не по себе?.. А просто окна позакрывали. Дует им. Или от солнечного света стонутся? Нехорошая мыслишка. Подлая. Из дому уйти, как Малушка советовала. Да прямо в царский терем. Сказать... пусть разбираются.

Пусть.

– От солнца мигрени у них. – Отец нес в руке железную рогатину с парой восковых свечей. Света мало, а душно. Так душно, что каждый вдох что через меховую рогожу. – Боюсь, как бы следом за матушкой твоей не расхворались. Говорил я ей, нечего привечать всяких... А тут то нищие, то убогие... то норманны... Им в нашем дворе делать нечего. Вот думаю, может, отравили?

И сказано это было... равнодушно?

Раньше, случись матушке прихворнуть, отец от ее постели не отходил. Всех целителей, какие только в городе были, созывал.

Вниз ведет.

– Что...

– Там она, в лаборатории. – Отец остановился, Илью вперед пропуская. Боится, что сбежит? – И не смотри на меня так. Зараза это... Сначала-то я целителей приглашал, а что один, что другой, что третий руками разводят. Нет на ней ни проклятья, ни хворей не видать, а она все равно тает день ото дня... И давно бы отошла... Свет дневной ей ярок, а каждый звук муку доставляет. Ты вот на сестер ныне криво смотрел. А они каждый день жизненной силой своей с матушкой делятся, да...

– А я?

Если все и вправду так, что ж молчали?

Что таились?

– А ты... ты мужчина, Илья.

И это прозвучало почти обвинением.

А лестница меж тем закончилась, уперлась в дверь дубовую, коваными полосами перекрещенную. Висит та дверь на петлях массивных. И замком заперта таким, который с ходу не откроешь.

– Ты ее под замком держишь?!

– погоди. Сейчас сам увидишь... – Отец протянул ключ. – Я был бы рад выпустить, да...

Память.

Лед.

И острый смрад гнилого тела. Темень, которую едва-едва разгоняют свечи. Существо, запертое в клетке. Прутья толсты, но существо трясет их с нечеловеческой силой, и воет, и скулит. А после замирает вдруг и ласково, матушкиным голосом просит:

– Спаси меня, Ильюшечка... спаси...

И лицо искаженное прижимается к решетке, прутья в самые щеки впиваются. А глаза – не глаза, провалы черным-черны...

– Спаси, Ильюшечка...

Память.

Запах дыма. Кисти в склянке. Резец. И узкий нож с кривым клинком, который вспарывает кожу на запястье. Кровь льется, и существо – думать о ней как о матери у Ильи не выходит – замирает. Оно то вздыхает, то приплясывает, то пускает слюни.

– Это не она. – Отец спокоен. – Это уже не она... Но мы с тобой можем попробовать одно средство...

– Хорошо.

– Даже не выслушаешь, что за средство?

– Я согласен. Когда?

– Завтра.

Отец потер руки.

– Почему только завтра?

– Луна войдет в полную силу. Ты удачно вернулся, Ильюша. И если у нас все получится... Тварь захохотала.

И снова память. На сей раз хрупкая, как древний пергамент. С легким ароматом пыли и душистых трав, которые клали под матрац, чтобы спалось легче. Но не спалось.

Никак.

И Илья, проворочавшись до рассвета, встал.

Он должен спуститься сам. Он должен увидеть.

Проверить.

Лестница не исчезла. И света одинокой свечи хватило, чтобы разогнать мрак. Дверь. Ключ... он забыл про ключ. И что теперь? Возвращаться? Будить отца?

Дверь открылась сама.

– Проходи, – раздался тихий голос. – Не стесняйся. Чувствуй себя как дома.

Тварь больше не бесновалась, да и из клетки она вышла, села в пентаграмму, ноги скрестив, и теперь задумчиво скребла длинными когтями коленку.

– Я надеялся, что ты придешь. – Она смотрела на Илью снизу вверх, и во взгляде ее не было больше безумия, лишь интерес.

– Я пришел.

Первой мыслью было – бежать.

Немедля.

Будить отца. Сказать, что выбралась она, что...

– Я тебя не трону. – Тварь махнула рукой. – Присядь. Поговорим, пока этот горе-маг не явился... Занудный он у тебя. Казалось бы, получил в руки источник древней мудрости, так сиди и радуйся, а он только и умеет, что бубнеть да вздыхать. И все мало, мало... но тут понимаю. Сам был таким.

– Кто ты?

– Кто я? Интересный вопрос, правда? – Голова матери перекатилась с плеча на плечо. Рот приоткрылся, и из него выглянул кончик языка. – Тело ты узнал... Кстати, не слишком-то приятное вместилище. Женщин я в принципе не люблю. Вечно у них то одно, то другое... У этой вот печень увеличена. Сердце пошаливает. Да... и с желудком беда. Еще полгода, и целители будут бессильны.

– Кто ты? – повторил Илья вопрос.

– Я не она, это ты правильно думаешь. Я – дух, который тихо-мирно дремал себе, пока одной дуре не вздумалось искать справедливости. Запомни, Ильюшка, самые большие глупости в этом мире делаются ради абстракции. Любовь. Честь. Справедливость опять же... Выпустила, да... А изгнать силенок не хватило. Этот же возомнил себя некромантом. Будто для того, чтобы им стать, хватит одной книжицы. Нет, книжица, не спорю, прелестная, и в мои темные времена за такую душу отдавали, но вот... голова на плечах быть должна... должна, да...

Существо тяжело вздохнуло.

– Он призвал меня. И заключил в это тело. А чего хочет, и сам не знает.

– Он?

– Ильюшка, – тварь погрозила пальцем, – не притворяйся бóльшим дураком, чем ты есть на самом деле. Ты ведь все прекрасно понял. Кстати, девушку жаль, но зря она языком молола. Могла бы еще и пожить... недельку-другую. Что ты смотришь так, с укоризной? Мне тоже

питаться надо. Ты же не думаешь о том, что чувствовала свинья, которую ты давече вкушать изволил?

Тварь засмеялась.

А смех у нее неприятный, дребезжащий и нисколько не похож на матушкин.

– Что здесь происходит?

– Интересный вопрос, – ответила она. – Поверь, я и сам не отказался бы понять... Происходит то, что в руки твоему папочке попала одна вещь, которую защищали от многого, но, увы, защиты от дураков так и не придумали. Он прочел. Кое-что выписал. И возомнил себя великим магом. Задумал ни много ни мало – составить заклинание, которое бы духов подчиняло, таких вот...

Он развел руки и хлопнул себя по щекам, сильно хлопнул, так, что на щеках остались красные следы.

– Нет бы чем попроще заняться... Но ему же славы охота, желательно мировой... Да ты присядь, Ильюшка, присядь... Спит твой папаша. И видится ему во сне признание... А что до работы его, то теория теорией... теоретик он знатный, тебе ли не знать. Когда ж до практики дело дошло, то и выяснилось, что по ту сторону не только духи водятся.

Глаза матери налились слезами.

– Ишь, мечется... душонка махонькая, что воробей, а не успокоится никак.

– Ты...

– Не я. Он меня призвал. И в это тело заключил. Как я понял, твоя матушка слишком много вопросов задавать стала. А это уже пришлось не по нраву твоему батюшке. Вот он и позвал ее... на опыт поглядеть.

Смех был хриплым, больным. А изо рта матушки хлынула черная кровь, которую дух отер рукавом хламиды.

– Повелитель... чтоб ему...

– Зачем сегодня он тогда...

– А что ему тебе, любопытному, ответить было? Что он матушку одержимой сделал? Или что сестрицы твои ныне уже не люди вовсе? Не пожалел дочек родных...

– Кто они?

– В вашем языке такого слова нет. Они не отсюда – из древней страны, которая давным-давно сгинула... таа-кхеми. Шакалы пустыни. Твари, в сущности, не самые сильные. Ты бы с ними справился. Но хитры. И всегда парой работают. Одна жертву морочит, другая силу тянет. Только и горазды, что жрать в три горла, а пользы от них... В пустыне могут дорогу закружить, особенно если случится буре быть. Там, в песках, и караванам пропасть случалось. А здесь... вот уж не знаю, куда и зачем их... он думает, подчинил.

– А на самом деле?

Илья старался говорить спокойно, хотя и подозревал, что тварь не слова слушает, а его, Илья, сердце то обмирало, то пускалось галопом. И во рту пересохло. И душа свернулась комком дрожащим.

– А на самом деле они позволяют думать, что подчинил... хитрые, говорю же. Я вот в подвале заперт словом хозяйским. Довольствуюсь крохами. Эти же... тьфу...

– Зачем ты мне все это рассказываешь?

Бежать.

Подняться. Тварь не станет удерживать. Кинет в спину пару слов язвительных, но задерживать не станет. Во двор. На конюшню. Жеребца заседлать или... на незаседланном можно. А то и вовсе пешком. Чай, столица...

Кричать.

Поднимать всех, кто есть.

Есть же магики. И знахари со знахарками. И ученые. И книги, пусть частью запертые, да неужто не сыщется в них заклятья какого, чтобы унять проклятого духа?

– Бежать думаешь? – поинтересовался тот. – Хорошее дело. У тебя, быть может, и получилось бы. Но вот... приведешь помощь? Спасать станешь? Не спасешь. Мне ей голову свернуть – одно мгновенье...

И шея изогнулась, захрустела.

– Прекрати!

– А девок... их и обнюхают если с головы до пят, ничего не увидят. Твари-то древние. Прятаться привыкшие. Их и дети бога не всегда увидеть способны были.

– Чего ты хочешь?

– Вот, другой разговор. – Он ослабил хватку, и матушка застонала. – А хочу я, Ильюша, того же, что и ты. Прекратить это безобразие. Уж извини, не люблю дураков, особенно самоуверенных. Очень жить мешают. Вот взять твоего папочку... Чего ему не хватало? Богат. Родовит. При жене любимой. Детки опять же... Нет, восхотелось курице орлом стать. Тьфу. – Слюна с кровью плюхнулась на границу круга. – И призвал меня... А дальше что делать – сам не знает. Изгнать не способен. Отпустить – не желает. Вот и маемся друг с другом. Там его книга, – он указал на стол. – В верхнем ящичке. От меня он защиту поставил. А вот о тебе не думал... для тебя у него иной план. Ты для него не родной сынок, кровь и надежда, а подходящее вместилище для еще одной древней твари. Не веришь?

Сложно не поверить, когда все... так.

Странно?

– Вон, видишь, на полочке... Да, тот сосуд с крышкой в виде львиной головы. Там заперт дух существа, которому... скажем так, в этом мире будут не рады.

Глиняный сосуд.

Старинный.

Древний даже. И древностью от него веет, как и силой. Рука сама потянулась было, но Илья не позволил себе коснуться. Одернул. Напомнил, что к иным вещам только в перчатке заговоренной прикасаться и можно. А лучше и вовсе не прикасаться.

– Молодец. – Тварь наблюдала за ним, не скрывая своего жадного интереса. – А вот твой папаша бестолочь, уж прости за откровенность, вечно лапает, что не нужно. Ты книгу возьми. Открой. Там есть заклятие... несложное. Обряд... разделить неразделимое... ты сумеешь.

Память.

И тьма, которая казалась густой, расползлась рваными лапами тумана, разлетелась клочьями. И вот уже он, Илья, листает ломкие страницы, удивляясь тому, сколь всего таит в себе невзрачная серая книжица. Она сама сокровище, и неудивительно, что отец не спешит этим сокровищем делиться.

Нет.

Илья возьмет книжицу. Ее нельзя оставлять здесь. Дух прав. Отец слишком безответственен, чтобы позволять ему играть с подобным. А вот сам Илья – другое дело.

Он исследует каждую страницу.

Каждое заклятье.

Обдумает.

Опробует? Быть может, некоторые... самые безобидные...

И смех твари отрезвляет.

– Что, от свиньи гусь не родится? – спросила она. – Ты учти, времени у нас не осталось. Будешь и дальше восхищаться или опробуешь кое-что? Сам смотри, матушка ведь твоя... Мне в этом теле, конечно, не слишком уютно, но ей, поверь, еще хуже.

Обряд.

Мел, который крошится.

И простенький рисунок, что выглядит недостаточно совершенным, хотя тварь и уверяет, будто нет нужды в совершенстве. Главное – основные узлы для привязки силы наметить.

Нож.

Жертвенная кровь. Собтвенная, Ильи, кровь, которая льется в чашу. И тварь замирает... В книге сказано, что кровь должна быть жертвенной. Неужели он это понял неверно?

– Обычно, – тварь вскинула взгляд, – под жертвенной кровью иное понимают. Твой папаша петухов безвинных резал...

– Мало этого? – Илья перехватил запястье платком.

И кольнуло, что матушка его вышивала.

– Да нет, сам факт жертвы важен... говори. – Тварь закрыла глаза. – Если бы ты знал, как мне все здесь... надоело.

Древнее заклятье. Ни слова не понятно, но меж тем Илья внутренним чутьем понимает, что говорит верно. Да и как их иначе произнести-то можно? Не заклятье – песня.

Вязь слов.

И силы, которая поднимается от пола... на крови.

– Что ты делаешь? – Любляна замирает на пороге. Простоволоса, боса, в белой рубашке. И вихрь силы накрывает ее.

– Что ты... – Маленка воет, падая на четвереньки, изгибаясь. – Что ты...

– Цыц, твари!

Мать изогнулась.

И упала.

Тело ее, будто объятые призрачным пламенем, сотрясали судороги.

– Останови! – Обе сестры, точнее, уже не они – в фигурах их не осталось ничего человеческого – скребутся, не способные пересечь порог. – Останови это!

Илья и рад был бы, но заклятье разворачивалось и не в силах человеческих было вернуть его.

Он только и мог, что смотреть.

Вот мать замерла.

И сестры, упав на пол, заколотились... Маленка билась затылком о пол, и под головой ее расплзалась лужа крови. Любляна вцепилась пальцами в лицо и выла, выла...

А потом стало темно.

И темнота длилась...

Прерывалась скрипом двери.

Звуками шагов.

Холодной ладонью на голове.

– Отойдет ли? – В этом голосе слышалась забота. И он приносил спасительную прохладу.

– Должен. Молодой еще. Повезло... свою кровь...

Кровью в темноте пахло, терпко и сладко, и запах этот вызывал странное желание в него завернуться, словно в пушистую старую шаль.

Кровью и поили.

С ложечки.

Не человеческой, само собой, а бычьей.

– А что девчонки? С ними... как?

– Кто ж знает, матушка. – Второй голос сух и неприятен, колюч. – Магии в них нет. И вообще... А что норов скверный, так у кого из дочек боярских он сахар?

– Ты мне скажи лучше, что с ними делать?

Тишина – звонкая, что зимний лед. И длится она долго, Илья почти успевает очнуться, прикоснуться к этой самой благословенной тишине, когда скрипучий голос вновь ее нарушает.

- Вы знаете, что делать.
- Дети же горькие...
- Может, еще да... А может, уже нет. Божиня не осудит...
- А люди?

– Вам ли людей страшиться? Поймите, оставите их, и что потом? Мы не знаем, удалось ли мальчишке полностью изгнать тварей. А если нет? Если они затаятся? На год? На два? А потом?

Вздых.

И снова тишина. Темнота отступает. Прорезают ее розовые сполохи грядущего рассвета. Белизна потолка. И робкое пламя свечей. Когда Илья открывает глаза – а веки тяжелы, что свинцом запечатаны, – он сначала не видит ничего, кроме этого пламени, которое само по себе прекрасно.

– Здраве будь, племянничек... – Дядя Михаил сидел у постели, в креслице низком. – Выжил-таки.

- Выжил. А...
- И матушка твоя жива. В обители она.

И замолчал.

Стар он стал. Иссох весь. А ведь маг. Маги старятся медленней обычных смертных.

– Она...

В обители. И в какой – не скажут. Илья не ребенок, понимает, что коль ушла от мира, то и от него, Ильи, ушла.

– Таково было ее собственное желание, Ильюша. И не мне ее останавливать. Душа ее крепко измучена. Кровит вся. И покой ей надобен едва не больше, чем тебе.

- А...
- И сестриц бы твоих в монастырь отправить.
- Или сразу в могилу?
- Слышал, значит? – Дядюшка не стал притворяться, будто бы не понимает, о чем речь. –

Хорошо. Значит, не придется врать, очень я этого не люблю. Что ж, самое бы верное было их в могилу отправить. Оно, может, и жестоко, да порой и жестокость – милосердие. Твари, которые в них вселились, с душой сливаются, под себя ее меняя. А когда переменят, то рождается еще одна тварь, которая новое тело ищет.

- Я их...
- Изгнал? Может, и так. А может, и нет.

В дядиной руке появились нефритовые четки. Илья хорошо их знал, из белого камня резанные, они были с дядюшкой всегда. Задумавшись, он перебирал бусины, когда осторожно, так, чтоб одна другой не коснулась, а когда и быстро, и тогда бусины сталкивались, издавая сухой неприятный звук.

– Видишь ли, Ильюша... если твари ушли, то сестры твои все одно останутся ущербными. Сколько они душожорок носили? Не один день. Да и не один месяц. После такого никто прежним не останется.

– И что?

Сухо было во рту.

– А то, что не одну, так другую гадость подцепят. Вот... а если не ушли, если затаились? Ты готов взять на себя ответственность не за сестер, а за других людей, которых они изведут?

– Готов!

Илья с трудом, но сел.

Огляделся.

Махонькая комнатка, не комнатка даже – иная конура просторней будет. Окон нет. Потолок низенький. На полу шкура запыленная медвежья кинута, у самое кровати. Вот кровать хороша, из дуба резана, перин навалено – утонуть недолго.

– Не горячись. Решение принято, и каким бы ни было...

Он слегка поморщился.

– Она тоже жалостлива сделалась. А может, свой резон имеется? Оставят их. Здесь, в тереме царском, оставят. Под ее присмотром. Объявлено пока, что приболели девушки.

– Отец?

Дядька убрал четки.

И вздохнул.

– Умер он... Его живым взяли... когда ты заклятье прочел, то силу выпустил немалую. Всплеск таков был, что сторожа по всей столице всполошились. К дому вашему... а в доме, уж прости, Ильюшка, только вы пятеро из живых остались. Да и то... Матушка твоя стонет и плачется. Сестрицы лежат без памяти. Ты сам едва-едва дышишь, а братец мой только и стенает, что ты его работу порушил.

– А люди?

Была же дворня.

Та Малушка.

И кухарка с помогатыми. И отцов старый дядька, поставленный вещи блюсти. Девки, которые сестрицам прислуживали, дом мели да глядели... Что с ними?

Дядька Миша головой покачал:

– Не вини себя. Духи – твари коварные, а уж этот-то... Будет мне наука... То, что я скажу... в Академии многое есть из того, чему не надобно на белом свете быть. Книги. Вещи вот... К примеру, фиал с духом одного некроманта, который искал вечной жизни. До дня вчерашнего я думал, что фиал этот находится там, где ему и положено: в шкатулке, опечатанной семью печатями, еще прежним ректором заговоренной. Но нет, пуста шкатулка, взломаны печати. И так аккуратно, что не скажу даже когда...

– Давно.

– Это я и без тебя знаю, что давно, – отмахнулся дядька, и четки в его руке раздраженно защелкали. – Пылищи на ней собралось с два пальца. Не в этот год взяли и не в прошлый. Ладно, что было, то было... Главное, твой отец умудрился эту тварь призвать. Связал с телом... и никуда эта погань от нас не делась бы...

– А матушка... он ее убить грозился!

– И самому умереть? Нет, дорогой, на это он не согласен. Но, повторюсь, не тебе с духом тягаться. А твой отец... он ничего не скрывал, разве что от кого ту книгу проклятую получил, но и на этот вопрос ответил бы, никуда не делся. Запечных дел мастера хорошо свою работу ведают.

И это упоминание о пытках покорило. Неужели бы отдал родного брата?..

– Отдал бы, Ильюша... Если бы мог отдать, отдал бы. Но тварь раньше до него добралась. Сирота ты теперь.

Помолчал, позволяя осмыслить. А чего осмысливать? Все одно не оставили бы в живых.

– Если бы по-тихому, тогда... но, видишь ли, твой выплеск все слыхивали. Многие к подворью стянулись. А там стрельцы. Пришлось сказать, что батюшка твой смуту затеял. Сговорился с Гервишцами и Натош-Одинскими... Они ей давно поперек горла были, да...

– Смуту?

Отец и смута. Глупость какая. И никто в это не поверит. Определенно никто не поверит, но...

– Дело такое, Ильюша. – Бусины на четках замелькали быстро-быстро, отстукивая мгновенья прошлой своей жизни. – В смутьяны записали – это, конечно, нехорошо... это суд... и земли ваши...

Меньше всего Илья о землях думал.

– И пятно на тебе, но лучше пусть отца твоего смутьяном запомнят, чем тем, кто по глупости с темными силами связался. Сам знаешь, что закон про таких говорит.

Илья знал.

Выжигать.

Костры и железо каленое. И семя зловерное выкорчевывать.

– Ты ведь тоже коснулся той книги. И начнись разбирательство, тебя не пощадили бы... Из благих ли побуждений, из глупости или просто случайно, но ты открыл ее. Читал. И провел обряд.

Илья опустил голову.

И пол ушел из-под ног...

Память. Ее почти уже не осталось. Мягкая ветошь, которую пихала нянька в купленные на вырост сапоги. Пуховое одеяло, которым Илья накрывается с головой, мечтая об одном – раствориться в этой душной темноте. И еще немного – стыд, заставляющий дышать.

Трусость.

Был бы храбрым, нашел бы способ прервать никчемную свою жизнь.

– Ты не дури! – Одеяло слетает, сдернутое сильной рукой дяди Миши. – Ишь, вздумалось...

– Я виноват...

– В чем, бестолочь? В том, что твой отец завязался с силами, с которыми справиться не сумел? Или в том, что пытался спасти близкого человека?

– Но...

Глаза слезятся.

И белизна потолка причиняет боль.

– Вставай! – Дядька Миша за плечо стаскивает Илью на пол. – Вставай и подбери сопли. Потом себя жалеть станешь.

– Я не могу.

– Можешь. В первый день поднялся ведь, а теперь...

– Плохо мне.

Тело не слушается, и Илья возится на полу, что таракан. Встать надо, хотя бы чтоб в дядькины глаза посмотреть, а то перед носом лишь сапоги его с заломами.

– Всем плохо бывает. Думаешь, мне хорошо? Я за тебя ей обещался...

– Это она. – Илье удастся вцепиться в край кровати. – Это ее книга... отец говорил, что ее...

– Может, и так. – Дядька лишь наблюдает за его мучениями, не делая попытки помочь. Да и не принял бы Илья его помощь. Гордость – единственное, что у него осталось. А еще чувство вины.

Надо было уйти.

Позвать кого... Хотя бы его вот... Дядька Михайло никогда не отказывал в помощи. И маг он... целый ректор. Неужели не сумел бы?.. Ведь говорит, что сумел... и тогда все иначе было бы.

Дух вернулся б в тюрьму свою.

Мама.

Сестры.

Отец. Дядька Михайло нашел бы способ вразумить отца. И тогда... тогда не объявляли бы его смутьяном. Не палили бы подворье, пытаюсь скрыть смерть всех, кому судьба выпала в тот день остаться. И сам Илья, и его судьба иначе повернулась бы.

– Вставай-вставай! – Дядька в креслице свое сел и четки достал. – И слушай, глядишь, услышан будешь. От чувства вины я тебя не избавлю. Это, дорогой, твое дело. И твоя совесть. Научись с нею ладить. Сестры твои живы, и она за ними приглядит. Не даст разгуляться...

– А я?

– А что ты? Ты живой. Целый. А что слабость, так пройдет... Конечно, теперь ты у нас сын смутьяна, но, знаешь, даже странно, что она тебя пощадила. Бояр забоялась, что ли? Все ж наследник, и прямой. У нашего, сам знаешь, с этим делом туго. И пусть говорит она, будто бы жив сын его, да... если и жив, то кто знает, что завтра случится? Ты ей нужен. Каждый день справляется. И гневаться изволит крепко на твою блажь. Не заставляй ее саму...

– Это ее книга! Ты не слышишь?!

– Слышу, дорогой племянник, еще как слышу. И говорю, что, может, оно и так, да только поди докажи. Подворье моего братца тьмою пропахло. Кровью пропиталось. Там и без всякой магии понятно было, что хозяева не Божиин храм возводили. А она... вот выйдешь ты завтра из палат этих и станешь говорить глупости. Думаешь, послушают? Были бы у тебя доказательства, многие б обрадовались. Это ж какой предлог, чтоб ее сместить... И царицы Правде подсудны. А вот без доказательств получается, что ты, Ильюша, по злобе душевной на спасительницу и заступницу свою клеветничешь.

Память рассыпалась.

И я вновь стала собой.

Сидим. Молчим.

А чего сказать? Что если б Ильюшка не сглумил тогда, все б иначе повернулось? И бабка моя... Нет, бабка сказывала, что знал бы наперед, где упадешь, соломки кинул бы.

Да и неужто я сама, случись с моими беда такая, упустила б шанс?

Знаю ответ.

– Теперь понимаешь, что с ними надо осторожней быть. – Илья вытянул дрожащую руку над свечой. – Несколько лет... за ними наблюдали пристально. Люди приставлены были. В покоях – амулеты, и проверяли постоянно... Ничего не находили.

Может, и так, только девки, к сестрицам Ильюшкиным поставленные, бледны да пугливы сделались, хотя всего-то два денечка при боярыньках пробыли.

– И если так, то у меня получилось? – Он улыбнулся виноватой кривой улыбкой. – Я себя убеждаю, что получилось, что не могло не получиться, потому как тогда выходит, что все зря, что я...

Я Ильюшку по руке погладила. Утешить бы, да со словами я не больно управляюсь. Не найду таких, которые взаправду утешат, а то еще и глупость какую ляпну. У него ж душа обесшкурена, такую тронь – и закровит.

– Тогда почему я их боюсь? Он еще тогда сказал, что теперь я в ответе, если не хочу отослать... что она их держит ради меня... чтобы привязать покрепче. Куда уж крепче? А еще капитал политический...

Я кивнула важно.

Про капиталы всяческие мне Люциана Береславовна расповедывала давече – что про те, которые в крынках хранят, на заднем дворе оные крынки прикопавши, что про иного всякого свойства. И тогда было удивительно, как это голова моя капиталом служить способная. Одно дело, когда голову эту из золота отльют аль из серебра, и другое, когда на плечах она и знаниями набитая.

Сестрицы ж Ильюшкины тоже товар.

Вот, замуж отдать можно, милость кому оказавши. Хотя, на этих невестушек поглядевши, жалею я женихов их, потому как с такой милости и окочуриться недолго.

– И что рано или поздно, но именно мне придется решать, как с ними быть. Я все думал, что этот момент если и настанет, то не скоро. – Ильюшка поднялся, одежду одернул. – А оно вот как вышло. Приехали... встречай... И куда дальше?

– Не знаю.

Глава 3. Об любовях и нелюбях

День четвертый лета.

И солнце, которое с самого утра полыхнуло жаром, окатило – что крыши красные, черепичные, что улочки узенькие, что сады да крылечки.

Сгинул с крылечка онго кошка старый.

Кобели в буды попрятались, полегли, языки выкативши, только вздыхают горестно. Куры в грязи и те копошкуются лениво, даже не квохчут. Я на кур из окошка поглядываю да семки лузгаю.

А в голове одно крутится.

Как бы до осени дотянуть и... и если выпадет все сделать верно, то взаправду сбежим с Ареем. Станька за бабкой приглядит. Деньгов ей отправлю, чтоб было за что век доживать. Не станет царица-матушка старуху из деревни выколупывать, чай, не царское сие дело.

А мы уедем.

На самый край мира, хотя ж Люциана Береславовна и утверждает, будто бы краю онго вовсе не существует, что сие – исключительно оптическая иллюзия, а на деле земля наша что шар, вроде мячика дитячего. И что если все время в одну сторону идти, то с другой выйдешь, правда, конечно, как в сказках тех, и сапоги железные, ходючи, истопчешь, и караван медные изгрызешь, и сам, может статься, сгинешь на чужбине.

Сказывала.

И показывала.

Что карты. Что шар, картами размалеванный, голобусом величаемый. И вроде глядела я, верила, а душой не понимала, как же так, чтоб земля наша круглой была? И как с онной земли тогда мы не падаем? Нет, это она тоже объясняла, правда, вздыхала и пеняла меня за дремучесть, а заодно уж книжиц дала цельный короб на внеклассное, как сама сказала, чтение, чтоб мою дремучесть побороть и политесности во мне прибавить.

Вот книжицу я и читала.

Пыталась.

Жаркотень... На такой жаре буквы сами собой расползаются. А еще мысли мои что масло растекаются. Точно, уедем. Чтоб как в сказке... подхватит меня добрый молодец в седло и увезет за горы далекие, моря соленые.

За моря, пожалуй что, не надобно. За морями теми земли лежат, где люди черны, а звери предивны. Ладно, к зверям-то я привыкла б, а вот серед черных людей зело выделяться станем...

– Посмотри, сестрица, – голос Маленкин перебил мои размышления, а я аккурат меж свеями и саксонами выбирала, прикидываючи, где нам с Ареем больше рады будут. Выходило-то, что нигде. – Неужели ныне и холопок грамоте учат? Что читаешь?

Маленка села рядышком и острым локотком меня в бок пихнула. И вроде сама мала, ведром накрыть можно, и силушки в ней – на слезу кошачью, а локоток остер, ажно дыхание перехватило.

А она книжку цапнула.

– «Описание земель дальних»... Скукотень. Зачем тебе это, девка?

– Меня Зославой кличут, – буркнула я и за книжкой потянулась.

Боярыня ее за спину упрятала и язык показала, мол, попробуй отбери, коль сумеешь. Я ж только рученькой махнула, небось книжка не из самых дорогих, и если збиедает⁵ ее сия стер-

⁵ Збиедать – потерять.

вядь, а она может исключительно из редкостного паскудства своей натуры, то заплачу Люциане Береславовне.

– Буду я всяких там имена запоминать.

И сама сидит.

Глядит.

Выглядывает, злюсь ли я.

Не злюсь. На больных и блажных не обижаются, а она... вот, может, и выглядывали ее что жрецы, что магики царицы и не углядели зла, да только и добра в Маленке ни на ноготочек. Человек ли она? Не ведаю. Может, и да, есть же такие люди, которые, иным жизни не попортивши, счастья не ведают.

– Эй ты, моя сестрица знать желает, когда жених ее явится. – Она поднялась и книжицей меня по голове стукнула. Точней, попыталась стукнуть, да я уклонилась и книжицу перехватила, дернула легонько да с выкрутом, как Архип Полуэктович показывал, она и не удержала. – Да ты еще пожалеешь, что на свет родилась!

Маленка аж побелела от злости. И ноженькой топнула. Ну да меня топотом не больно напугаешь.

– Жених, – говорю, в глаза глядячи, – так откуда мне ведать? Пуцай письмецо ему напишет... передам, так уж и быть.

Говорю, а сама... лед-ледок... нету льда, не ложится он на пересохшее русло. И видится мне Маленка не девкой, а рекой, из которой вода ушла, на самом дне разве что пара мерзлых лужиц осталась. В такие не провалишься.

– Ты, девка, – она уже шипит, слюной брызжет, что сковородка жиром, – говори, да не заговаривайся. Делай, что велено!

– Кем велено?

– Мной!

– Когда велено? – И гляжу так ясенько.

– Сейчас!

– Да?!

Была у нашей боярыни серед двора девка одна, за редкую красоту взятая. Волос золотой, глаз синий, личико чистое. И сама-то она, что лучик солнечный, завсегда ясна и приветлива. Вот и позвали в усадьбе служить. Только ж оказалось, что все у нее в красоту ушло. В голове ж пустотень... Начнут ей поручения давать, она глядит, глазами хлопает и улыбается.

Что она мне вспомнилась?

– Ты... – Маленка ажно дар речи потеряла. – Ты... тут не шути мне!

– С кем?

– Думаешь, самая умная? – Маленка вцепилась мне в руку и пальцы сжала, выкрутила. Вот же ж, боярыня, солидность иметь должна урожденную, а она щиплется, как гусак паскудный. – Ничего, дорогая, скоро поймешь, с кем связалась. Все вы поймете...

И сгинула.

Чего хотела? Я книжицу-то отряхнула, положила на тряпицу чистенькую да возвратилась. Как там Люциана Береславовна сказывала? Самообразование – ключ к успеху. Вот и будем оный ключ ковать, капиталу головную множить.

Пригодится, чай.

Нет, к сваям не поедет. У них бабы уж больно хороши, если описаниям верить. Лицом белявые, волосами пышные... Баб мне и ноне хватает. Может, к морю?

Аррей объявился ближе к полудню, когда я до страны Кибушар дочитала. Про нее нам, помнится, Милослава сказывала, да как-то коротенько. В книжице-то про эту страну добре расписано было, что, мол, лежит она на песках, а в тех песках родники живые, и на каждом

роднике свой царь сидит. И у него жен столько, сколько прокормить он способный. У одних – дюжина, у других – ажно и пять дюжин.

Туда мы тоже не поедем жить, а то мало ли...

Вот отчего так – что у азар, что у кибушаров, что у иных многих народов одному мужику много жен позволено брать? Но нигде нет такого, чтоб одной бабе двух аль трех мужей прибрать можно? Иль с того сие, что ни у одной бабы в здравом розуме на двоих мужиков нервической силы не достанет?

– Здравствуй, Зослава. – Арей сел рядышком и протянул леденца на палочке. Простенького такого петушка, которого из сахара варят да с соками разными. И соки леденцы в разные колеры красят. Нынешний был золотым, полупрозрачным и до того сладким с виду, что рот слюной наполнился.

– Спасибо.

Петушок был духмяным. И значит, не только сахару, но и меду не пожалели.

– Что у вас за беда приключилась?

– Где?

Арей тяжело вздохнул.

– Прислали мне нарочного с письмом, что тут мою невестушку обижают. Вот думаю, которую...

Я петушка и отложила.

Разом и цвет утратил, и запах, и... и тошно стало. Я тут сижую, мечтания мечтаю об том, как жить станем, пусть и на краю мира. Может, получится до того краю добраться и с него плюнуть.

– Не меня, если...

Если считает он меня своей невестою.

– Да я так и подумал. Тебя обидеть можно, конечно, но жаловаться ты непривычная. Она и царице отписалась.

– Которая из них?

– Тоже заметила? – Он руку мою нашел и погладил осторожно. – Вернись в общежитие...

Я б с превеликой радостью. Пусть и велик терем, мне даренный, пусть и богат, полны сундуки добра, а все одно неуютно мне в нем.

Дом?

Нет, не дом. Не тот, об котором мечталось. Да только как оставишь гостей, пусть и незваных, да званием немалых?

– Плевать. – Арей тряхнул головой. – Я только и думаю, как бы они тебя... как бы не случилось чего... не знаю... Меня с вами отправляют. А их – со мной, то есть формально – с братом, который безмужних сестер в городе оставить боится.

– А он боится?

Ильюшка в гости каждый день заглядывал. Только гости были престранны. Он являлся и садился за стол, сестрицы усаживались напротив. Да так и сидели молча, глаза друг на дружку. Высидели когда час, когда и два, а после расходились.

– Останься, – попросил Арей. – Никто не заставит тебя ехать. Скажи Люциане, она тебе мигом дело отыщет, где подальше... или вовсе больной скажись. Поверят.

– А практика?

– Зачтут. Найдут способ. Зослава...

Что сказать? Не он первый говорит об этаком. Мол, всего-то надо, что захотеть, и сподмогнут добрые люди, сумею отвод дать, чтоб не ехала я в земли дальние, не искала приключений на зад свой, который ноне вовсе не так уж и широк. Да только... вот как мне их всех бросить?

Царевичей бедолажных.

И Кирея, который чем дальше, тем беспокойней делался, будто грызло изнутри его то самое азарское пламя, с коим не всякому совладать выйдет. Ильюшку... Лойко... Невестушку свою названую утративши, он сделался смурен и молчалив. Наособицу держится, а тронешь – вспыхивает злостью непонятной, только и отгораживает быстро, сам винится.

Куда они одни?

Да и... есть же и слово даденое, и монета клятая, и жених, который, даст Божиня, женихом и уйдет... Есть сон мой и книга серая, которую Хозяину вод возвратить надобно, пока иных каких бед она не натворила. Есть... многое за мною есть.

Не останусь.

А захочу, то, мнится, и не оставят.

– Нет, значит. – Арей понял все без слов. Обнял. Коснулся сухими губами лба. – Извини...

– За что?

Он-то в чем виноватый?

– За все. За то, что вышло так, неудачно... за то, что сам я...

– Обнимаетесь? – Маленький визгливый голос едва ль не заставил подскочить. Еле на лавке усидела, честное слово. – Ты погляди, Любляна, на это безобразие!

Стоит боярынька наша, руки в бока уперла, глазами зыркает гневно, значит, ноженькой притопывает... Ох и грозна, как мышь, на кота войной пошедшая.

– Погляди, погляди. При живой-то жене...

– Пока не жене. – Арей руку свою не убрал. И чуяла я, злится. Внутри закипает дикое азарское пламя, а Маленьке то в радость. Ажно засветилась.

– Невесте, царским словом даренной! Тебе, убудку, милость великую оказали...

– Цыц! – рявкнула я.

И как-то так рявкнула, хотя от жизни не крикучая, что Маленька присела. Правда, скоренько спохватилась и айда в крик.

– А что тут делается! – Визгучий голос ее всполошил курей, развалившихся было на солнышке, и те с квохтанием брызнули в стороны, только пыл поднялся. – А, люди добрые...

Ох, и верещала она! Вороны и те слухали-заслушивались, до того красиво выходило. Этак не каждая торговка сумеет, не то что боярыня родовитая.

Я прям рот и открыла.

После-то вспомнила, что Люциана Береславовна за этот рот раззявленный, которым только мух ловить, ругивала крепко, и закрыла. Подперла кулачком щеку, на Маленьку уставилась. Ну и гляжу, значит, жду, когда человек проорется. Она же ж, знай себе, по чести идет, что по мне, что по Арею и евонной матушке... что по моим родителям... Выдохлась наконец.

– Пересохло в горле? – молвила я наилучшим тоном. – Может, кваску подать?

Маленька только запыхала, что твой еж, и выскочила с горницы, только дверью лягнула так, что мало терем не развалился.

– Кваску, значит? – Арей бровку поднял.

– Кваску... а то мало ли, может, всего не досказала.

Глянули друг на друга и приснули смехом. Вот же ж, люди добрые...

И недобрые.

– Знаешь, Зослава, а с тобой весело. – Арей отер слезящиеся глаза. – Даже когда причин для веселья вроде бы и нет.

– Царице жаловаться станет?

– Разве что для порядку. А так ее никто слушать не будет, и она это знает распрекрасно. Нет, здесь другое. Пройдемся? – Он встал и руку подал.

А я что? Приняла. Как оно там осенью будет, еще вилами на воде писано. Может, и не доживем мы до той осени, так чего время на глупости тратить?

Выплыли мы со двора, лебедь с лебедушкой. Ну, хотелось мне лебедушкой хоть когда побыть, правда, чуяла всей сутью своей, что не лебедушка я, но как есть гусыня обыкновенная. А и пускай себе, тоже птица хорошая, строгая.

К воротам дошли.

И за ворота.

Город задыхался от жары. Солнце пекло немилосердно.

Пыльно.

Духотень. И по этой духотени собаки и те попрятались, что уж про людей говорить. Дремали в теньке нищие. Страдали лоточники. И ни пирогов никому не хотелось, ни пряников, ни орехов каленых. Арей, правда, купил кулек, но больше для порядку.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил он.

А я плечами пожала.

Обыкновенственно.

Лениво разве что. Экзаменации сдала, до практики еще неделя цельная, а я, вместо того, чтоб делом заняться, бока на перинах вылеживаю. Отдыхаю.

– Не болит голова? Слабость непонятная или вот кружится...

Он и рукой крутанул, показываячи, как кружится. А никак она не кружится. Я только рученьками и развела, мол, не чую за собой таких приличественных слабостей, и значит, нетушки причин в столицах оставаться.

– Я не к тому, Зослава. – Арей мысли мои нехитрые прочел и усмехнулся. А ведь ныне он глядится если не как боярин, то всяко не голодранцем. Вон, штаны новые, и рубашка из ткани легкой, и камзол тонюсенький, самое оно на летнюю пору. Вроде и прост, а пуговицы с перламутровым глазом да каймой золотой. И сапоги яловые, желтого колеру, на каблуках звонких. Идет Арей, и каждому слышно.

К новой одежде и новую невесту...

Кольнула подлая мыслишка да и отпустила. Не станет он так поступать, не со мною.

– Мне кажется, что эта красавица неспроста ныне завелась... Я кое-кого в тереме пораспрашивал, раз уж ныне меня там гостем дорогим зовут, – и внове усмехается, только кривенько так, мол, мы с тобой-то ведаем цену взаправдошнюю этому гостеванию. – До смерти они там никого не довели, это правда. Прищемили хвосты поганкам. Но вот что девки дворовые на них жаловались – то сущая правда. И вроде бы не сказать, что боярыни капризны сильно были... вовсе-то некапризных нет. Однако же силу тянут... Одна все вздыхает да помирает, а другая за любую мало-мальскую ошибку отчитывает, и так, что поневоле злость пробирает.

– Как тут?

– Именно. – Он меня к скамеечке подвел.

Это ж мы гуляли-гуляли и аккурат к площади выгуляли рыночной, которая и по нынешнему летнему часу жила, хотя ж и ленивой жизнью. Гудели торговые ряды, вились над мясными мухи, орали на рыбных что коты, что торговки одинаково мерзотными голосами, сияло на солнышке серебро и золото богатых лавок...

Дремал у столба позорного пьянчужка, стайей псов бродячих окруженный.

А над скамеечкой нашей растопырил лапы кованый цмок-змея виду предивного. Под оным и табличка имелась, что сделанный он был мастером Улыгваром Леворуким по заказу гильдии кузнецов, чтобы мастерство свое перед иными людьми и купцами показать.

– И вот подумалось мне, что неспроста это. Тварь если есть какая, то голодна. А как голод утолить? Силой жизненной. Откуда взять? Вытянуть. Да так, будто бы сами жертвы эту силу и отдали. Вот одна гнев вызывает, а другая – на жалость работает. Человек-то, когда гневается, открытый... Вы это позже проходить станете. Самое поганое, что не один я такой умный. – Арей присел рядышком и ноги вытянул, на сапоги свои уставился во все глаза. И я поглядела. Хорошие сапоги, правда, необмятые и, значит, трут. Надобно кожу маслицем

постным вымазать и в тряпицы закрутить на ночь, тогда она помягчает. Батька мой еще так делал. – В жизни не поверю, чтобы в тереме царском никто не обратил внимания на этот... нюанс.

Голуби курлычут.

Слышала, что ноне в столице новая мода, чтоб молодые голубей в небо отпускали. Ему, значит, сизаря суют, а невесте – голубку белоснежную.

Красиво, должно быть.

А с другой стороны, оно-то глядеть красиво, но с птицей пойдика договорись. Взлетит и обгадит. И пушай сие к деньгам – верная примета, – но навряд ли невестушка, которой такое приметится, рада будет. Тут же ж голуби к ногам нашим слетелись, пихают один одного, что бояре думские, да кланяются, жалются на судьбу.

– Но предупредить нас не сочли нужным. – Арей кулаки стиснул. – Кинули гадюк пару, и думай теперь, чего с ними делать. Избавиться? Это если доказать выйдет, что они уже не люди. А так... Нервы треплют? Это не преступление. Но держись от них подальше.

– Кирей...

– И от него тоже. Мутит он что-то, а что – не пойму. – Арей поскреб лоб и пожаловался: – Рога лезут... все не вылезут никак. И болит, и свербит.

– Почесать?

– А и почеси. – И голову наклонил, чтоб, стало быть, чесать сподручней было.

Я и поскребла. Надо же, два махоньких пятнышка на лбу проступили, красные, навроде лишаиных, только еще припухлые. А под припухлостью этой тверденькое чутся.

Вот же ж, не один, так другой... Видать, на роду мне писано было мужа рогатого заиметь.

– Хорошо... – Арей еще ладонью раскрытой лоб погладил. – Чувствую себя знатным козлом...

Я перечить не стала. Коль чувствуется человеку, то отчего б и нет?

– Когда поедем... вот. – Он вытащил из кармана колечко медное, золотой проволокой обернутое. – Я, конечно, не мастер, да только эти годы не зря хлеб ел. Понимал, что только руками своими жив и буду. Вот и делал кое-что на заказ. А это и для себя... для тебя.

И сам колечко на палец нацепил.

А в проволоке камушки крохотные стеклянными осколочками блестят. Или не осколки, но роса будто бы? И сама проволока, в медь вплавленная, узором идет предивным, словно одна руна в другую перетекает. Гляжу, и... и узор плывет, меняется.

Вот руна старшая Хааль, которая есть защита и основа. Вот троица младших... Или привиделись лишь? Мелькнули и исчезли в золотых волнах.

– Защита. В том числе ментальная. Пока ты носишь, ни одна нелюдь к тебе и близко не подойдет. Ты, конечно, сама справляешься прекрасно, только... мне спокойней будет. Ладно?

Раз так... да и не только спокойствия ради. Колечко – это дар особый. Сестрам кольца не дарят.

– Спасибо.

Я колечко примерила.

Со страхом – а ну как не в руку придется? Случается такое, а это верная примета, что не будет в семье ладу, мол, сама Божиня знак дает, что не по себе невесту берешь. Аль жениха.

Нет, скользнуло колечко на мизинец, обняло теплом ласковым.

– Пожалуйста. – Арей улыбнулся так... открыто. – Я все сделаю, чтобы тебя уберечь.

Глава 4. Где еще сборы ладятся

День пятый.

Дорогая моя Ефросинья Аникеевна, пишет тебе внушка твоя, надеюсь, еще любимая, но всяко единственная. Челом бьет и справляется о твоём здоровьице. Ладно ль доехали? Легка ли была дорога? Мяжки перины? Крепок ли возок? Мне-то добрые люди сказывали, что, мол, на Выжнецах вы трактир изволили покинуть, поелику собака трактирщикова вас облаяла матерно, с того и оскорбились и в чистом поле ночевали. А сие для вашего здоровья нынешнего не есть полезно.

Я перышком нос почесала, мысля, как дальше письмо писать. Третье уже... Не знаю, что бабка моя с первыми двумя сделала и дошли ли они вовсе до Барсуков, но вот... пишу.

И надеюсь, что очуняет⁶ она.

Одумается.

И сама ж над собой, столичной особой, посмеется еще. А я, коль буде милостива жизнь, посмеюсь разом с ней. Со смеха, говорят, годков прибавляется.

Я ж так мыслю, что псина она не со зла пасть раскрыла, а исключительно от неведения. Собачий розум куций, где ж ему, кобелю трактирному, уразуметь было, кто на двор евоный ступить изволил, милость оказавши. Вы б ему сперва разъяснили, тогда б, глядишь, устыдился бы, поганый.

Доехали.

Пусть и ругалась бабка крепко на провожатых. И требовала немедля повернуть, дескать, дела у ней в столице преважные, не холопьего разумения, но боярской руки требующие да пригляду. Карамии грозилась. И плакала. И хворой сказывалась. Станька о том весточку передала.

Тяжко ей.

Бабка как уразумела, что не бояться провожатые гневу ейного, то капризной сделалась, что дитя малое. То ей сквозило, то грело, то прело, то перина комковата, то одеяла тяжелы...

Нонече и мы в дорогу собираемся, поедem, а куда – мне сие неизвестно. Да и не только мне. По Академии слухи самые разные ходют. Одные бают, что отправят нас к Верхним Бережкам, которые есть село славное, не раз студюизусов привечавшее, там, дескать, каждый год первый курс практику проходит. И местная нежить к сему привычная. Другие ж увереныя, будто бы до Бережков мы не пойдем, поелику нонешним годом там будут ждать люди, и сплошь недобрые, которые восхочут царевичей смерти лютые предать, а заодно уж всех, кто с ими буде, а потому поедem мы в Броды. Я ж мыслю так, что не будет нам ни Бродов, ни Бережков, а выберут иное место какое, из тех, которые известны мало.

Писать ли про то, что слухи эти нарочно пущены? Чтоб, значит, ворог гадал, где ж нас встречать хлебом и солью, да метался меж Бережками злополучными да Бродами, которые тоже деревенька немалая, а ныне, чуеться, и больше прежнего стала, приветивши сотню-другую стрельцов.

Нет, не буду.

⁶ Очуняет – очнется, придет в себя.

Бабке оно без надобности, а попадись письмецо в чьи руки, так с меня ж за длинный язык и спрошено будет.

Ехать нам ужко через три денечка. Сперва-то разом пойдем, с целительницами, стихийниками и некромантусами нашими, которые заради этаккой оказии из подвалов своих повыползли, ходют, бродют, бледнющие, что упыри на полную луну. Кривятся. Отвыкли они за учебу от солнца ясного.

Зевают во всю ширь и норовят на ходу придремать. Один и вовсе брел, брел, на стенку набрел, лбом в нее уткнулся и придремал, сердешный. Целительницы-то сперва его обходили, а после одна, зело сердобольная, шальку свою на плечи набросила.

Суета вокруг стоит, аккурат как у нас перед ярмаркой. Люд туды-суды шастает, подводы грузятся...

Архип Полуэктович матюкается предивно, но больше не на нас, а на человечка лысого того и хмурого. Эконом Академии, как и многие прочие, был скуповат и хитроват. Мнится мне, что без этаких свойств из человека вовсе эконома не сделать.

Он хмурился.

И причитал, что мы, сиречь студиязусы, вводим его и всю Академию в немыслимое разорение, еще немного – и вовсе по миру пустим со своими практиками.

И лошадь нам выдай.

И круп всяко-разных. Ведро. Котелок. Утвари по списку, Архипом Полуэктовичем всученному. А главное, выдали оный список мне, велевши все стрясти в точности. Я и трясла, как умела. Эконом же вздыхал и слезу пустил однажды, подсовывая мне вилки кривоватые, дескать, других нетушки и вовсе не в прямоте счастье. А ложки и вовсе сверленные, чтоб, значится, не крали. Как же этими сверлеными суп есть, он не сказал, верно, вовсе был против того, чтоб студиязусы ели и продукты казенные тем переводили.

Вот и сражались мы за каждый мешок.

А главное, что по норову своему наскудой редкостной будучи, эконом все обмануть норовил. То гречи недосыпет. То пшенку подсунет позапрошлогодною, которая уже и с запахом прели, и мышами поетая крепко. То сальце с прозеленью, которую всего-то и надобно, что тряпичей отереть. Котлы битые, а то и колотые, одеяла – драные... Но я науку вашу, сердешная моя Ефросинья Аникеевна, памятуячи, каждое одеяльце пощупала, не поленилась в мешки заглянуть, перевесить и крупы перетрясти с тем, чтоб вовсе негодные в Академии оставить.

Эконома местечкового этакая прыть моя вовсе не радовала. Он кривился. Хмурился. Кричать на меня принимался, что, дескать, возюкаюсь и его от дел важных отрываю, что окромя нас на нем еще семеро групп, серед которых некромантусы, а им, помимо одеял и крупов, еще надобно всякого прочего выдать.

Ножей там жертвенных.

Свечей сальных, катаных. Волосьев девичьих. Кровей...

Думал, напугает. Не на ту напал. И некромантусы, которые за спиной моей стояли печальные да тихие, меня нисколечки не пугали. Ждут? Так и подождут. Вона, им ожидание не в тягость, стоят и дремлют, что кони, на ногах... Чему их там такому учат, что с этой учебы они на ходу спят-то?

Два дня я, Ефросинья Аникеевна, с этим экономом мучилась, пока он, закричавши голосом дурным, что, стало быть, я есть ему от самой Божини наказание за грехи прошлые, в

волосья себе не вцепился. А тех волосьев у него не так чтобы много осталось. И не от Божини я, но от наставника нашего с поручением. Так я ему и ответствовала. А что заставила заячьи хвосты в том меху пересчитать, так он же ж у меня их взад не мешком принимать станет, а поштучно. И ежели пары-другой недосчитается, то не простит. Нет уж, все по списку мы с ним вместе проверили и перепроверили.

И ложки у него нормальные сыскались.

И одеяла.

И котелки с прочей утварью. От устатку он мне еще соли с полпуда отсытал, и хорошей такой, крупного помолу, зерняной. Она на рынке по три серебряных за пуд идет.

Перышко я отложила.

Вот же диво. Вроде и привыкла уже писать – что лекции, что рефераты, а все одно пальцы негнуткие, упрямые. Попишешь – и надобно шевелить, чтоб кровь по ним пошла. А письмо... Не о том бы мне писать, не об экономе и соли. Если по правде, то в тереме моем хватило б и котелков, и одеял, и круп всяких. А чего не хватило – рынок близехонько, там и сыскалось бы. Чай, не сбеднели б мы, сами себе припасы справивши, но...

Написать бы, что скучаю зело.

По дому нашему. По яблонькам, которые перецвели. По Пеструхе и двору... Косили ль траву? Косили, верно, да... Все одно не каждую неделю, а стало быть, поднялась она, забуяла, особливо крапива у дальней межи. Эту крапиву бабка специально не выводила, чтоб было с чего щец наварить. С крапивы-то они хорошими выходили и полезительными. Малина, мыслю, тоже разрослась, недраная. А забор чинить надобно было еще прошлым годом. Огород... кто его сажил?

Хата за зиму отсырела, обиделась, что бросили без пригляду. Она и так без крепкой мужской руки едва-едва держалась. Арей забор поставил бы. И наличники подтянул бы провисшие. С полом сладил бы скрипучим. А еще крышу перестлать бы...

Вернусь ли я когда?

Увижу ль бабку, которая, мнится мне, краску с лица поистерши, постареет... Я без нее скучаю. А она как? Вспоминает ли меня? Чтоб не словом гневливым, как сославшую ее, боярыню, в Барсуки какие-то, но как свою Зославушку, которую на коленях баюкала да от болячек детских выхаживала?

Ох, боюсь...

А еще, любезная моя Ефросинья Аникеевна, надеюсь я, что свидимся мы вскорости. Практика наша хоть и положена, а длится все одно три седмицы, после ж нас всех по домам отпустят, чему я премного рада. Надеюсь, что тогда-то и перемолвимся мы словом, поплачемся обо всем, по-своему, по-бабьи, да и обнимемся, друг друга простим за все...

Всхлипнула я.

И платочком глаза отерла.

А после сыпанула на пергамент песочку мелкого, чтоб скорей, значит, просохли чернила, да бумагу эту стряхнула. Запечатаю сургучом, колечком приложу, оттиск оставляючи, и хоть не родовое у меня колечко, не намагиченное, которое печать неразламываемой сделает, а все красивше.

Выехали мы на семей день.

А уж как выезжали... Небось вся столица сбеглась на этакое диво поглазеть. Про царевичей-то ведали, что учились они и цельный год проучились, помудрели...

Ну, как помудрели. Еська небось ежели чудом каким и доживет до седых волос, да при том мудрости навряд ли прибавит. Но народу о том говорить невозможно.

Неполитично сие.

Значится, сперва загудели трубы медные числом с две дюжины. Под воротами загудели, воронье окрестное пужая. И взвились черные стаи, закружили с карканьем. В толпе-то, мыслится, разом сыскались бабки, которые в том дурной знак узрели. Да только какая ворона, себя уважающая, на месте при этаким гвалте останется?

Выстроились перед воротами трубачи в одеждах алых.

Щеки пучат, дуют в рога кривые, медью окованные.

Барабанщики стучат.

Певчие песню затягивают, царя-батюшку славят.

Тут же и знаменщики со знаменами. И ветерок полощет полотнища шелковые, отчего орлы на них кривятся да народу подмигивают будто бы. Вот вышел глашатай в шапке высокой, чтоб, значится, отовсюду его видать было, а для надежности на плечи рынды всперся. И уж оттуда волю царскую и зачитал. Дескать, словом и делом будет служить царевич всему народу, а для того отправляется ныне укрепляться в знаниях не куда-нибудь, а в Чернолужье.

Там, значится, нежить расплодилась.

А я хмрюсь, силясь вспомнить, где это самое Чернолужье искать. Уж не то ли Чернолужье, которое под Тулыным стоит? Да на семи озерах? Нежити всякой там и вправду изрядно, озера стоялые да болота – для ней самое милое место.

Глашатай же продолжал кричать, рассказывая, какие подвиги совершит царевич во славу царствия Росского и зачета по практике ради. Ажно я заслушалась... Это ж сколько нам нежити известь придется? Вон, и виверну помянули... Архип Полуэктович только нахмурился.

А мне подумалось, что как ни крути, но виверна ему родич.

Только крылатый и безголовый.

Вот глашатай и смолк.

Внове загудели рога. И трубы заорали. Застучали в барабаны барабанщики. Что-то гроыхнуло. Лязгнуло. И ворота Академии отворились, первую подводу пропускаючи.

Стрельцы.

Рынды.

– Нам бы еще скоморохов, – пробурчал Архип Полуэктович, в седло взбираясь. И парасольку свою открыл, на сей раз шелковую, расписанную цмоками предивными.

– Зачем скоморох?

Меня уже в Академии посадили на вожжи, я их и подобрала, сжала покрепше: ну как испугается лошадка труб с рогами? Где потом ловить? У меня ж на телеге подотчетной утвари двести сорок пять единиц. Растрясет – эконоом после душу из меня выколупает той самой дырявой ложкой.

– А без них не веселою. – Архип Полуэктович лошадку свою, махонькую да косматую, больше на здоровущего кобеля похожую, чем на коня, пятками тронул. – Не зевай, Зось, наш выход... Народ жаждет зрелищ.

Вот тут-то я согласна была. До зрелищев наш люд зело охочий. И тут уж немашечки разницы – зреть ли, как смутьяна казнят, на ярмарочных скоморохов аль на выезд царевичев.

Поехали.

Сперва целительницы, коих ажно три телеги набралось. Да те телеги они покрывалами расшитыми прикрыли для красоты. Коням в гривы ленты заплели, на дугу бубенцов повесили гроздьями, сами разоделись, кто во что гораздый. Сидят пряменько. Спины держат.

И выходит же ж! Пусть телеги для таких выездов и не предназначенные...

За ними уж стихийники, которые больше верхами. А поелику из боярских детей они, то и кони были хороши, и сбруя. Ветерку намагичили, что по-над толпою пронесся, сыпанул серебристыми звездами, а оные звезды на землю посыпались монетами полновесными.

Загудел люд.

Иные, особо доверчивые, и кинулись магическое золото подбирать. Сие, конечно, зря... Эти монеты – иллюзия. Коснись – и распадется, обожжет пальцы холодком.

Нам Архип Полуэктович так объяснял.

За стихийниками некроманты выезжали.

Телега черная. Кобыла... Чуется, не особо живая кобыла, если и кобыла вовсе. Тварюка огромная, на которой разве что горы пахать. Бухает тяжело копытами, от каждого шагу площадь вздрагивает. Махнет тварюка хвостом, и люди шарахаются. Глянет красным глазом, и вовсе пятятся.

Некроманты знай себе подремывают на солнышке, в плащи закрутились, что наружу только макушки и торчат. Не люди – нетопыри. А там уже и мы тихой сапой. Кобылка наша даром что неказиста с виду, а ходка. Телегу тянет, головой только потрясывает...

Царевичи-то оружными ехали.

И как-то вот видела я их, видела... После раз, и попрятались промеж стрельцов, подика различия, где особа важная, а где обыкновенный служивый человек. Архип Полуэктович со своей парасолькой – вот уж кого и в дурном сне не попутаете – и тот куда-то подевался. А из ворот Академии экипаж выкатил, значит, в четверик запряженный. Люд простой только и ахнул. Кони-то чудесные, с шеями лебяжьими, сами белы, копыта серебряны. На облучке карла сидит в шапке высокой. Кафтан зеленый с рукавами длиннющими, что мало земли не касаются. А в экипаже, стало быть, Марьяна Ивановна наша восседает, в мехах да при шапке высокой, жемчугом шитой. И полной горстью медь звонкую людям кидает.

Настоящую, не чета зачарованной.

Я сама на это диво загляделась, рот раскрыла, позабывши и про приличественность, и про мух, которых летним часом проглотить недолго.

Да только диво на этом не закончилось. Не успел возок отъехать, как из ворот разъявленных показался витязь, и такой, про каких сказки рассказывают. На коне гнедом, и конь этот – гора горой, сам в броню закованный, только грива пшеничная до копыт стелется, а в гриве той золотые ленты привязаны. Попона алая, до самых до копыт. И витязь восседает видом грозный. Плечами широк, руками могуч. В левой – секира, которой, верно, цельный дом от крыши до погребу перерубить можно, в правой – копьё из дуба молодого. Вот глядишь, так и верится, что махнет секирой – и опустеет улица, копьё в полет пустит – и переулочки сгинут... то есть не сами переулочки, к чему их бить, а вороги, которые в них прячутся.

Ежели прячутся.

По-за этого витязя, который лицо свое за кованой личиной прятал, народ сразу и поприших, про медь звонкую и то забыли. Зато внове трубы грянули...

– Зославушка, правь правей, вон на ту улочку. – Архип Полуэктович с конька своего на телегу перемахнул. И парасольку на мешки кинул. Вот, теперечи еще и за ней следить! Вожжи, главное, перехватил и коняшке цыкнул, чтоб ходу прибавила. И еще одно диво. Были перед нами стрельцы и не стало, куда сгинули? Того не ведаю... Только и через них, и через рынд, и через люд честной проехала телега на тихую улочку, которую туточки Бочкаревой прозывали.

Одна телега проехала, а другая в хвосте осталась, плелась за некромантовой, что привязанная. То есть аккуратно и привязанная, как приличной иллюзии сие подобает.

– А...

– Позже появятся. Ты едь, внученька, едь, а то ж опоздаем к воротам. Ишь, окаянные! – На месте Архипа Полуэктовича дед сидел, старый и сухонький. Из-под картуза волосья ключьями выбиваются, борода взъерошена, лицо у деда приплюснуто да прикривлено, губы сухонькие поджаты, а к нижней папироска приклеилась. И дед этот папироску жует. – Развели балаган, ироды! Честным людям ни пройти ни проехать!

И клюкой грозит непонятно кому.

Глянула я назад и обомлела. Стоят на телеге бочки – что огромные, ободами железными перетянутые, что махонькие, с два кулака.

– Езжай, внученька, езжай. – И дедова клюка в бок мне ткнулась. – После на чудеса столичные дивиться станешь. Ишь, учудили... развели... народ глазеет...

А глазеть было на что.

За витязем, в коем мне виделся Фрол Аксютрович – вот на другого кого этакая броня не взлезла б, а когда б и всперли всем миром, небось не усидел бы в ней живой человек, – и моя наставница показалась. Тоже при полном, так сказать, параде.

Коней тройка.

Черны-смоляны. Гривы подобраны и скручены бубинками, а каждая бубинка алою ленточкой перевязана. Попоны золочены. Упряжной под дугой идет, ноги выкидывая, что танцор, пристяжные к нему ластьются. Повозка на двух колесах, каждое с мой рост будет, стоит. Катятся колеса, сверкают камнями драгоценными. А по колеинам за ними трава прорастает, да не просто трава – ружы белые...

– Вновь иллюзией балуется... – Архип Полуэктович головой покачал. – Вот скажи, Зослава, отчего люди в короткой жизни своей не ценят, чего имеют? И даже когда потеряют, то, обретши вновь, снова забывают, что еще недавно готовы были все отдать, чтоб вернуть...

Люциана Береславовна в повозке сей – царица царицей.

В шелках азарских.

Синий.

И бирюзовый.

И серебристый.

Ветерок эти шелка тревожит, растягивает иные полотнищем, узор за узором раскрывая, а боярыня сидит бездвижна, не человек – кукла парпоровая. Лицо набеленное. Волосы башней, в коию воткнуты цианьские спицы с бубенцами да висюльками золотыми.

И хороша она.

До того хороша, что вздыхаю я... Знаю, для кого рядилась. И знаю, что зазря.

А потому цокаю нашей лошадушке, чтоб шагу прибавила. До заходних⁷ ворот нам полгорода объехать надобно. Да через торговую слободу, где своих телег полно.

Проехали.

Протиснулись – когда сами, когда криком и грозьбой. И грозились не я, но дед Михей, который зело руглив был. Ох и матюкался ж он! Люд честный ажно рот раскрывал, слушаючи. Я и то пару словесей запомнила и про себя повторила. В жизни-то всякая наука пригодится...

За то и получила клюкой по хребту.

– Ишь, набралась, внученька! – Дед Михей сопел грозно. – Где ж это видано такое, чтоб девка ругалась? Выкинь дурь из башки своей!

И по голове уж клюкой.

– Деда! – возопила я, а стражники знай хохочут. Это мы аккурат к воротам подъехали, стало быть. – Этак ты мне весь розум выбьешь!

– Было б чего выбивать! Бабе розум что шальному коню свобода... и себе во вред, и другим не на пользу. А вы чего встали? Не видите, человек домой спешит!

И ужо страже грозитя.

Ох, и языкаст он был, всем досталось, окромя царя... Но ничего, пропустили и даже дороги мне пожелали доброй. Чего на сие пожелание дед Михей ответил:

– Не кривись, Зославушка... – Дед Михей по бочке постучал. – Он ведь и в самом деле существует, дед Михей из деревни Корвзята, и внучка его, Михалина, младшая и самая спокойная, иные-то с Михеем не ладят. Вот и отрядила ее родня с дедом торговать, потому как

⁷ Заходний – западный.

бочкарь он славный, на все царство Русское известный, только не с норовом его на рынке стоять, всех покупателей ославляет, а Михалина – девушка тихая...

И неказистая. Невысока, полновата, конопата. Глянула я на себя в зеркальце украдкой. Вот девка, этаких на дюжину десятков.

– И каждый третий четверг дед Михей привозит свой товар на продажу. Останавливается в «Веселой курице», у сродственника, который один готов терпеть его придирки и сквернословие, потому как сам таков. К приезду Михееву вытаскивает он флягу сливянки, которой дня на три отдыха хватает, аккурат чтоб Михалина распродалась... После вот Михей с опохмелу злой, злей обычного, садится на телегу... На этой седмице не свезло. Привез Михей товар для одного купца, но тот торговаться вздумал, вот Михей и уперся.

Бочки я потрогала. Надо же, будто настоящие.

Гладенькие.

Хорошие.

– Да и сродственник Михеев приболел, вот и не заладилась поездка.

– А...

– Настоящий Михей ногу подвернул, а одну Михалину отпускать отказался, как и прочих сродственников своих, которых за дураков держит. Сам бочки повезет, когда отойдет малость.

Я только и нашлась сказать:

– Это удачно вышло.

А дед Михей усмехнулся так кривенько:

– Удача подготовку любит... А Михей – свою внучку, которую единственную толковой считает. Вот и припрятывает для нее когда медяшку, когда две, а когда... приданое собирает, чтоб выдать за хорошего человека...

Я кивнула.

Вот же... не чаяла того, а все одно в чужую жизнь заглянула.

Ехали мы до Полушек, которые аккурат перед столицей раскинулись, мимо дворов постоянных, мимо кабаков и трактиров. Выехали за поля пшеничные и через лесок сосновый, где нас и ждали.

– Это что деется-то? Что деется? – громогласно возмутился дед Михей, поскребывая лысоватую маковку. – Здоровущие лбы, да без дела маются!

Сказано сие было верно.

Как есть маялись.

Кони расседланы.

Костерок на поляне горит. Над костерком – рогатина, на рогатине – котелок, да из новых, неучтенных, поблескивает неопаленным боком. В котелке булькает ушица, и рыбный сладкий дух по всей поляне расплзается.

У меня сразу в животе заурчало.

Над котелком Кирей сидит с длинной ложкой деревянной. За его плечами – Еська с Елисеем, без ложек, зато, надо думать, с советами премудрыми, потому как на веку своем я усвоила, что без премудростей ушицу не сварить, выйдет обыкновенный рыбный суп.

Егор на лапнике прилег, под голову седло сунул, в небо пялится.

Думу думает, и по лицу евонному понятно, что дума сия про судьбу всегойного мира, не иначе.

Емелька ложечку стругает. И во всем этом пейзаже такая благодать, что ажно слеза навернулась. Сидят, родненькие, нас ждут.

– Дядько, – Егор глаз приоткрыл, из дум выползаючи, – ехали б вы, куда ехали.

– Ишь, разговорился! – Дед Михей кобылку-то придержал и с телеги соскочил с нестарческой прытью. – А тут, за между прочим, мое место! Мы тут с внученькой завсегда останавливаемся, когда из городу едем.

– И что? – Егор открыл второй глаз и, узревши перед собой сухонького да лядашего старичка в дрянном одеянии, оные глаза и прикрыл.

– Траву потоптали! – взвизгнул дед Михей, клюку перехватывая.

– Дед... – Егор поморщился. А то! Голос у деда был пренебрежительный. – Ехал бы ты... говорю...

– А то что?

Кирей от ушиба взгляд поднял.

И усмехнулся.

Узнал?

А если так, то Егору не подскажет, ложку свою переложил из правой руки в левую да помешал варево, на что Елисей с Еськой зашипели в один голос. То ли рано мешал, то ли посолонь, когда наоборот надобно. А может, быстро аль медленно, кто ж их, мужиков, с рыбацкими их секретами поймет?

– Костер жжете! За конями не ходите! Ишь, развалился, простому человеку ни пройти ни проехать...

– Дед, – Егор привстал, – ты бы сумел, а? А то ж не погляжу, что старый...

– А ты и не гляди! – Дед Михей подскочил к Егору и по ногам клюкой перетянул. – Не гляди, что я старый! Небось силенок хватит, чтобы бестолочь этакую жизни поучить...

Этакого оскорбления Егор терпеть не стал. Ох, и взвился он, что кошка, которому под хвост хрену плеснули. И на деда кинулся. Да только того деда-то... оно ж лишь мнится, что соплей перешибить можно.

– Старых забижать?

Дед в стороночку отступил и Егору по плечам клюкой вдарил.

И по заднице.

И после... Я только вздыхала, на царевича глядя. Гонял его дед Михей по всей поляне, а Егор злился. Пыхал. Матюкался... по-простому матюкался, без изысков. А добаться до деда не умел... Когда ж, вовсе озверевши, сотворил на руке огневика, дед головой покачал:

– Учишь вас, учишь, а без толку...

И бровкой вот так повел, отчего огневик прямо на руке и развалился, жаром шкуру царевичеву опаливши. Ох, и заорал Егор! Все окрестные птахи над рощицей взвились.

– Не ори, – сказал дед Михей голосом не своим, а Архипа Полуэктовича, и дланью могучей сказанное подкрепил. Оно и верно, с дланью как-то надежнее будет. – Сам влез, так что терпи...

Я только лицо за руками спрятала.

И жалко было мне царевича, которого и в листьях прошлогодних извивали изрядно, и в грязи, а после своим же огневином подпалили, и смех разбирал. Уж больно лицо Егорово сделалось обиженным.

– Но...

Он руку свою к груди прижал.

Опалило, но не сказать, чтоб сильно. Шкура красная, да без пузырей и не облазит. Болюче, правда.

– Помоги этому олуху, внученька, – передразнил деда Михея наставник, исконный облик свой принимая. – А ты, дурень, другим разом не гордостью боярской, а головой подумай. Ишь... решил, раз дедок, то и обидеть можно?

– Вас обидишь, – пробурчал Егор и головой потряс, пытаясь от листа осинового, в кудри вбившегося, избавиться. – Если б я знал...

– А ты не знал? А вы?

– Ну... – Кирей ложку свою Еське передал. – Я сигналки ставил. Ни одна не сработала, хотя должна была бы... Значит, если это и телега, то не простая... а на непростых гостей лучше поглядеть для начала...

Евстигней кивнул и молча показал пару ножей, которые в ножны отправил.

– Запах прежний, – дернул носом Елисей.

А Ерема только кивнул, мол, прежний.

– И ведро на телеге с моей меткой, – добавил Еська и отступил на всяк случай. – А что? А вдруг бы потерялись? Да я ж свою метку... ее обыкновенному человеку не видно!

– Ишь, умник. – Архип Полуэктович к котелку подошел. – Рыбу где брали?

– Так Лойко еще вчерашнего дня наловил. Всю ночь просидел, а теперь вон... – Еська указал на кучу листвы, в которую боярин и закопался по самую маковку. Спит, стало быть?

И что это за сон, если его даже вопли Егоровы да ругань деда Михея не перебили? Уж не тот ли, не мертвый?.. Или просто полог тишины поставил? Полезная штука, когда выспаться надобно. От комаров опять же спасает.

– Понятно. А ты, внученька, не сиди сиднем, помоги этому...

Егор руку протянул и отвернулся, только щеки запунцовели. Стыдно ему было? За что? За то, что наставника не распознал? Аль за то, что его, боярина, дед какой-то по поляне гонял?

Руку я мазью обмазала да словом заговорила, к утру пройдет.

– Ты... спасибо, – сказал Егор и отвернулся.

Подбородок вздернул.

Ага, гордость очнулась, значит, жить будет.

Я в стороночку отошла, подальше от Егора, поближе к телеге. И вправду делов ныне хватит. Вона, надобно миски отыскать, скатерочку какую-никакую. Хлеба порезать, салца. Были в телеге и огурчики соленые, капусточка, да и пирогов мне Хозяин в дорогу собрал целную корзину, чтоб, значит, не оголодала.

– Думаете, не поняли... – Еська, бестолочь этакая, пирожок с лету ухватил да, разломивши пополам, обе половины в рот и сунул.

– Думаю, что есть шанс. – Архип Полуэктович на седло сел, ноженьки перекрестил, руки на колени положил. – Пока мы с вами едем... А там будет видно.

И от пирожка кусочек отщипнул.

Потянул носом.

– Переварите, ироды... Кто ж ершей столько вываривает? Никакого умения, – пробурчал и ложку отобрал. – И тмином попортили. Нельзя в уху тмин сыпать!

Вскорости сидели мы тесным кругом, ущицу пробуя.

Ой, хороша была...

А к утруцу еще один экипаж прибыл. Как экипаж – телега обыкновенная, не самая новая, однако крепкая еще. Тянула телегу кобылка соловая, а правил ею паренек вихрастый с конопатым носом. Промеж же мешков – может, с пшеницею, может, с шерстью, а может, еще с чем – две девки сидели: одна носатая да косоватая, другая рябая, что яйцо перепелиное. И обе жизнью крепко недовольные.

За телегою ж мужичок брел, лысоватый, в мятой одежонке.

– Долго ходите. – Архип Полуэктович над костром рукой провел, и притихло пламя, ушло в угли, а угли в землю.

Выпрямилась измятая трава.

Распрямились ветки.

– Да уж. – Мужичонка сплюнул. – Кому-то собраться...

– Не понимаю, – рябая девка юбки подобрала да на землю спрыгнула, – почему мы должны куда-то там ехать? В конце концов, это просто-напросто неприлично! Одни, среди мужчин... Что будет с нашей репутацией?

– Не одни, – возразил паренек и ладонями по лицу провел, морок стряхиваючи. – Здесь Зослава.

– О да, целая холопка...

Маленка скривилась.

Вот же... а под личиной она краше была.

– Зослава не холопка, – устало произнес Илья, второй сестрице руку подавая. Та, по обыкновению своему, была бледна и печальна. И с телеги не сошла, почитай, сползла, охаячи да ахаячи. На землю ступила, покачнулась и едва не упала.

– Ага, княжна... Слышали... – Маленка фыркнула и огляделась. – Ты-то и рад будешь нас уморить.

– Прекрати...

А она взяла и послушала.

Вот с того дня мы и ехали. На первой телеге Архип Полуэктович со scarбом казенным, кой я ему только доверить могла, а на второй – мы, стало быть, женской компанией, которая была тесна и тепла, что кубло гадючье.

Следом царевичи, Кирей с Ареем, который невестушку свою, царицей жалованную, седьмой дорогой обходить силился, да Ильюшка, родственной любовью вконец измученный. День так ехали, другой и третий уж разменяли, и верст не один десяток, а сил моих душевных и вовсе безмерно. И вот чулось мне, что не за просто так те силы из меня тянули.

Грелось колечко.

Камушки порой так и вовсе вспыхивали гневно, и тогда кривилась Маленка, отступалась и, зарывшись в одеяла, кои вытащили для хворой ейной сестрицы, отудова уже принималась стонать громко. Ныне же, в нору свою нырнувши, она нос высунула и громко, чтоб, значит, я наверняка услышала, сказала:

– А платье тебе на свадьбу справим шелковое... Видывала я такую ткань, Люблянушка, не ткань – а загляденье. На алом шелку цветы багряные будто бы. И жемчуг россыпью... Венчик из камней самоцветных, чтоб все видели, не холопку какую в жены берут...

Сказывает и на меня поглядывает.

А я что?

Молчу. Держу вожжи да мыслю об одном: когда-то ж должны мы до деревеньки той добраться, где меня от этой компании избавят.

Надеюсь.

Ибо иначе за себя не поручусь. Забить не забью, а вот косы повыдирать – сие самое честное дело...

А дорожка влево свернула.

И вправо.

И стала такой... Мы-то и прежде не по тракту цареву ехали, но ехали же. А тут... Все тесней смыкались колючие стены. Все ниже спускались тяжелые ветви лещины, так и норovia по лицу зеленой плетью хлестануть. Сныть разрослась, а крапивы, той и не видать. Зато расстилаются поля дымянки, хоть ты телегу останавливай и собирай вдоволь. Дымянка – трава полезная. От желудочных хворей да нутра больного, а рядом и толокнянка, и женская трава, которую не в каждом лесу встретишь...

Архип Полуэктович конька своего тронул да вперед выехал.

Принюхался.

– Скоро уже, – сказал он странным голосом. – И вправду, похоже, поехали туда, не знамо куда, да прибудем...

Кирей дивного коня своего по гриве потрепал да, будто прислушавшись к чему-то, сказал так:

– Вода рядом. Заклятая... И магия это древняя, не чета нашей.

– Значится, – Архип Полуэктович парасольку сложил, – куда бы ни приехали, а к месту...

Глава 5. Братовая

Елисей слушал лес.

А лес молчал.

Не бывало такого, чтобы живой лес да молчал. Всегда что-то да есть. То ли шелест листвы, в которой возился еж, то ли хруст ветки под лисьей лапой. Вздохи оленей, которые сутью своей чуяли близость волка. И это если птиц не слушать.

Птицы в лесу были всегда.

Или комары.

Егор хлопнул по шее. Нет, комары в этом лесу имелись, но легче от того не становилось. Елисей с трудом сдержал рык: лошадь под ним и так нервничала, не хватало, чтоб понесла.

– Неладно? – Ерема подъехал ближе.

Он смотрел так... виновато, что сердце в груди кольнуло.

Ссора? Не было ссоры. А все равно будто сломалось что-то важное, и как починить?

– Неладно, – согласился Елисей, разглядывая брата искоса.

Прежний он.

Только похудел. И в последние дни почти не ест. Говорит – не хочется. Переживает. Сессия ведь, экзамены... Можно подумать, его из-за несданного экзамена отчислят. А ночью стонет. Тронешь – просыпается сразу, садится с глазами раскрытыми, а в них – пустота.

Спрашиваешь, что снилось.

Ничего.

И не лжет.

– Мерзнешь? – Елисей коснулся холодной руки брата.

– Что? А... нет... не знаю. Лис... – Ерема придержал коня, позволяя Лойко себя обойти. И Емельке, который привычно держался позади. Ехал и по сторонам головой крутил.

Илья.

Телега с девушками, которые Елисею сразу не понравились. Пахло от них болотом.

Арей.

Кирей на дивном коне.

– Что? – Евстигней придержал коня, но Лис покачал головой. И Евстя понял. Тронул бока злющего жеребца, с которым никто, кроме Евсти, сладить не умел. Конь оскалился и попытался было тяпнуть кобылку Еремы, но та привычно отступила в сторону.

– Лис... ты меня простишь? – Ерема вытер пот. А ведь выглядит он совсем худо. Белый. Под глазами мешки темные. И дрожит мелко, точно в ознобе.

– За что?

– За все. – Он облизал губы. – Я дураком был, и... кажется, лучше мне сейчас... потеряться.

– Чего?

Вот уж точно терять брата Елисей не собирался. Но тот перехватил руку и заговорил быстро, захлебываясь:

– Я дураком был. Подумал... тебе было плохо. И мне плохо. Нас связали, не сказавши толком, чем это грозит. А он подошел... предложил... я взял клятву крови, что он... проведет обряд. Разделения.

Елисей вздохнул.

И прислушался.

Качнулись ветви, будто слетела с них невидимая птица... Сорока? Юркий королек, в котором весу на два пера? Или не птица вовсе?

– Он провел... сначала все было хорошо. Тебе ведь стало легче?

И Ерема с такой надеждой смотрел, что Елисей кивнул.

Стало.

Луна пришла.

И позвала. И он, услышав голос ее, не стал противиться зову.

Он очнулся незадолго до рассвета, уже за Акадэмией, из которой выбрался, а как – не помнил.

Он лежал на берегу пруда. И пил воду. И слизывал с лап свежую кровь. Оленью. Растерзанный зверь лежал здесь же, и Елисей мысленно попросил у него прощения. А потом вновь обернулся, на сей раз полностью сохраняя разум и память. Он вернулся по своему следу тайным путем. И никто, кроме Еремы, ничего не понял.

– А потом... я не знаю, что происходит... все время хочется спать. И было несколько раз, что я терялся. Засыпал, но открывал глаза и понимал, что нахожусь где-то... не там нахожусь. Понимаешь?

Елисей покачал головой.

– Я больше не доверяю себе. Я не знаю, что еще он со мной сделал. Не только обряд ведь... И значит, мне нельзя с вами.

– Почему раньше не сказал?

– Потому. – Ерема вытер испарину рукавом. – Сам не понимаешь?! Меня бы не выпустили... заперли... лечить... а там и залечили бы... Я не хочу умирать. Я дурак, но умирать не хочу. Отпустить нас не отпустят. Слишком много знаем... И надо уходить. Сейчас, пока есть еще шанс, пока... Смотри.

Он тронул кафтан.

Обыкновенный, из добротного сукна шитый.

– Рыжих в царстве хватает... А сейчас я на царевича похож не больше, чем ты... чем мы все... Денег есть немного. Доберусь... куда-нибудь доберусь, а там и дальше. Я подумал, что к степям поеду. Там хватает всякого... люду. Затеряться будет легче, чем здесь.

– Уходишь, значит?

Эта мысль Елисею не понравилась. Настолько не понравилась, что не удержал он волчью недовольную натуру, отозвалась она раздраженным рыком.

– Ухожу. Прости... И тебе уйти советую. Пока никто не понял, кем ты стал, но это ведь дело времени. До новой луны пара дней осталась. И ты ее уже слышишь.

Елисей кивнул.

Слышит.

Как не услышать, когда она рядом, белая госпожа, легкая шагом своим, прикосновением близкая. Того и гляди скользнет по загровку прозрачная длань лунного света и ухватится крепко, вытащит волчью подлую суть людям на кровавую потеху.

– Обернешься, и... не посмотрят, что из одной миски ели. – Ерема рванул воротник. – Не отпустят. Поднимут на колья. Скажут, если и не убивал, то убьешь... Сам знаешь, с такими, как мы, разговор короткий.

– Не доедешь. – Елисей протянул руку, но прикоснуться к себе брат не позволил, отпрянул, и лицо исказилось.

– Не надо!

– Ты болен.

Этак он далеко не отъедет. Упадет в кусты да и сгинет.

– Без тебя знаю. – Ерема потряс головой. – Шумит... шепчет, что нельзя уезжать. Что я с вами должен... за тобой приглядывать должен... А значит, самое верное – уехать. Нельзя его слушать.

Он зажал уши руками.

– Нельзя. Он меня отпустит, когда поймет, что я не с вами, что ушел... что...

Ерема дернул за поводья, заставляя кобылку пятиться. И та недовольно мотала башкой, грызла удила да всхрапывала.

– Успокойся. – Елисей повернулся к дороге.

А телега далековато уползла.

И остальные. И знают ли, что Ерема задумал? Догадываются... И как быть? Задержать? Не позволит. Он для себя все решил. И значит, только силой.

– Не получится. – Ерема слишком хорошо знал брата. И, привставши на стременах, шлепнул кобылку по шее, за повод дернул. – Не надо, Елисей... Если все будет хорошо, я тебя найду. Обещаю, что я тебя найду, слышишь?

– Слышу.

– Или ты меня... мы еще свидимся. Оба выживем и свидимся. Но если вдруг случится, что я... что вернусь к вам... и стану говорить, что передумал, не верь. – Ерема сглотнул. – Я не передумаю. А он... заберет мою шкуру... оборотни ведь разными бывают, помнишь?

– Помню.

– И ты узнаешь, когда я – это не я... А если и не узнаешь... я не собираюсь возвращаться. Поэтому если... если вдруг... бей, не жалея. Живым я ему себя не уступлю. А потому если придет, то меня уже нет...

– Дурак.

Елисей руки положил на луку седла.

Не станет он задерживать брата.

И уговаривать.

И...

Доберется до деревни, тут уж недалеко – ветер несет запах дыма и съестного, и значит, скоро встанут... А там ночь. И луна близкая. Поможет пасынку. След, глядишь, не растает, а волк на ногу легок. Догонит этого, бестолкового... И там уже видно будет, что и как.

– Я... тоже тебя люблю, Вересень...

Этого имени Елисей не слышал давно, так давно, что и отвыкнуть успел уже. А брат, кривовато усмехнувшись, добавил:

– Прости за все... и не забывай, кто ты есть. Не позволяй ей надеть на тебя ошейник. Ты волк, Верес, а не шавка домашняя.

– Как и ты, Варей.

Он развернул кобылку и подхлестнул лозиной.

Елисей вздохнул и, дождавшись, когда брат скроется за поворотом – лес словно проглотил его, – спешил. Он встал на четвереньки и вдохнул тяжеловатый конский запах.

Фыркнул.

Закрыв глаза, запоминая.

Да, определенно... вечером... Он догонит Варей вечером... и дальше решит, что им делать.

Деревенька стояла в низине. Вот дивно! Люди обычно поверху селятся. Оно и верно. По весне низины водами тальми полнятся, по осени – дождевыми. И небось туточки все погребла плавают... Нет, я слыхала, что есть такие деревеньки, где дома вовсе на воде ставят, на сваях, а вместо телег лодки пользуют, но туточки ж вона, лес кругом...

Дорога сбегала в низину.

Поля?

Не было полей.

И скотины. Время-то самое летнее, травица сочна, мягка, а меж тем ни одной коровы. На дальние луга выгнали? А собаки? Отчего ни одной, самой захудалой шавки навстречу не

выскочило? Ограда? Стоит частокол, да только видно, что погнивший, вона, два бревна и вовсе вывалились.

– Божиня милосердная, – вздохнула Маленка, и я с нею мысленно согласилась. Вот не по нраву мне было сие место.

Ворота распахнуты.

А на воротах тех ворон сидит, черный, страшный. Нас увидел и раззявился, захохотал человеческим голосом. Впору крестом Божининым себя осенить.

– Цыц, – велел ворону Архип Полуэктович. – Хозяйка где?

Птах, тяжело хлопнув крыльями, поднялся.

Еще и говорит.

– Зось, рот закрой. – Архип Полуэктович огляделся, нахмурился, пересчитав не то телеги, не то царевичей. – Ерема где?

– Там, – Елисей честно указал на лес.

– Сбежать задумал?

Елисей плечами пожал, мол, может, и задумал, да мне не сказал.

– Ничего. – Наставник не озлился, усмехнулся так кривовато. – Отсюда и захочешь – не убежишь. Что ж, господа студюозусы, добро пожаловать... к месту прохождения летней полевой практики.

И еще пару слов добавил.

Замысловатых.

Небось на своем, виверньем. А может, и матюкался по-заморскому. Я запомнила. На всяк случай.

В ворота первым Лойко въехал.

Огляделся.

– А тихо тут, – сказал вроде и вполголоса, однако же услышали все. – Мертво, я бы сказал. Архип Полуэктович, не подумайте дурного, но мнится мне, что место это – не совсем то, где оказаться мечтают.

Тиха деревенька, как погост в полночь.

Стоят дома темные. Стоят дворы пустые, забуявшие. Сныть поднялась стеной, крапива колючие листья распушила. Малина шипами оцетинилась.

Ни людей.

Ни скотины.

Ни даже куры захудалой какой...

Ползем по улице. Хлопцы сами собой за оружие схватились, плотней один к одному подобрались, заслонили нас от деревни этой. Маленка притихла. Даже Любляна уже не стонет, выползла из одеял да головой крутит всполошенно, а в глазищах страх плещется.

Но едем.

По улице широкой... а дорога-то мощенная крупными камнями. И видится вдали подгнивший крест Божинин, почти обвалившийся. Под ним же на лавочке старушка сидит да рукодельничает. Спицы в руках мелькают, пляшет клубок шерстяной, на юбку положенный.

– Что-то вы, соколики, долго добирались, – молвила старушка сладеньким голосочком, от которого у меня и жилочки задрожали, и поджилки затряслись. – Я уж и баньку истопила, и стол накрыла...

– А я вот всегда знал, – молвил Еська, на телегу перебираясь, – что она ведьма.

Марьяна Ивановна улыбнулась этак с укоризной.

Услышала, стало быть.

Глава 6. О девичьих радостях и горестях

А банька туточки хороша была, хотя и не пользовались ею годами, а то и десятками лет, а все одно не развалилась, не раскрыла щели, через которые честный пар уходил бы. И протопилась, прогрела старые кости. Когда ж плеснули на камни кваском, наполнилась баня честным хлебным духом, который вытеснил легкий запахок прели.

Первыми пустили нас.

Да вот отказалась Маленка париться. И сестрицу не пустила.

– Последний разум потерял? – возмутилась она, когда Ильюшка предложил помыться с дороги. – Или хочешь, чтобы мы с ней угорели?

– Хочу, чтобы вы вымылись. – Ильюшка не выдержал. – Воняете уже неблагородно!

Любляна мигом разразилась слезами.

Маленка руки в бока уперла и закричала визгливо:

– Воняем? Мы воняем? А мы просили тебя нас сюда тащить? На телеге! С этой вот... – она пальчиком на меня указала. – Потянул, не посмотрел, что Любляна еле жива. Уморить захотел! А когда не вышло... в баню... с этой...

– С этой, с той, – меланхолично отозвался Кирей, – но от тебя действительно пахнет, женщина.

И спиной повернулся, не видючи, как раскрылся от возмущения Маленкин рот. Ох, сказала бы она, да только сестрица ейная, помирать временно передумавши, за рукав дернула.

– Мне бы и вправду... пыль омыть... немного, – сказала она шепотом. – А Зослава нам поможет...

И взгляд такой, что впору с тоски вешаться.

Помогу.

Глядишь, и не утоплю в корыте.

– Божиня, – только и простонала Маленка, глаза к небу поднимая.

А что небо? Обыкновенное. Серое. В перинах облаков. И месяцик показался, верней, уже и не месяцик, а луна полнолунья, которой ночь-другая до полной силы осталась.

Так и пошли мы в баню, я да боярыни.

Они в предбаннике остались, только дверцу приоткрыли и друг с дружкой переглянулись.

– Жарко, – сказала Маленка.

И Любляна кивнула, добавивши:

– Сомлею... водицы бы... горячей.

И на меня внове глядит. Ну да, не боярское дело это – воду гретую таскать. Что ж, мне не тяжело. Вытащила и бадью, и ведро, и ковшик резной на потемневшей ручке.

– А полить...

– Сами поливайтесь.

Пушай и сказывал Архип Полуэктович, что берендеи терпеливы, да все ж любому терпению конец приходит. Вот и я поняла, что еще немного – и с собой не сдую. Маленка же губенки поджала.

Любляна на лавку села, рученьки на коленях сложила.

Глядит на меня препечальственно.

А мне что с той печали? Я им не холопка крепостная, которая помогать обязана. Как-никак вдвоем с мытьем сдуют, а нет, то пускай ходят грязными. Я спиной повернулась и одежду скинула скоренько, сложила на полку да и шагнула в парную.

И там-то уж вдохнула полной грудью.

Хорошо.

Жар стоит правильный, легкий да звонкий, самая от того жару телу польза идет. Пахнет хлебом. Еще бы липового взвару, медом разбавленного... но чего нет, того нет. Диво, что вовсе баня устояла, продержалась годы без людского догляду. И я, оглядевшись, поклонилась в пояс.

– Спасибо, – говорю, – тебе, Хозяин, за ласку да прием. Позволишь попариться?

И затрещали каменья, загудело пламя в печурке – согласен, стало быть. Надо будет после, как отгорят уголья, занести в баню хлебушка краюху.

Я-то на полку легла и лежала... долгехонько лежала, позволяя жару забрать и усталость, и злость, и иные обиды. А после, когда уж от жара в голове загудело, то и поднялась.

Баня хороша, да всему мере знать надобно.

Вот сейчас самое время выйти да вылить на раскаленную докрасна шкуру водицы колодезной, чтоб опалила холодом, а после и жаром окатило, но не снаружи, изнутри. От этого ни одна самая лютая хвороба не удержится.

Да только дверь не поддалась.

Я толкнула посильней.

Мало ли, может, доски, которые за годы иссохли, ныне напитались влагой, раздулись, вот и села дверь в проеме крепко, что пробка в бочке.

И еще сильнее, и...

– Эй, вы там! – кликнула я, а после... вот как-то понятно сделалось, что не виноватые доски и не банник сие шутит, он мне париться дозволил, а я ничем бани его не оскорбила... и значит, одна причина – подперли дверь с той стороны.

Чем?

Не ведаю.

И для чего? Неужто и вправду думали, что сомлею да сгину? А после как? Что говорить бы стали? Иль о том они не думали? И такая злость меня взяла... вот прямо изнутри поднялась дурной волной.

– Прости, – сказала я, – батюшка банник, что так отплачу тебе, да сам разумеешь, выхода у меня иного нет.

И огневика на ладони сотворила.

Хорошего.

Толстого да желтого. Зашипел он, тяжело огню серед воды, едва ль не погас, но я не позволила. Кинула в дверь, силой напавши. И оскорбленное пламя вгрызлось в дубовые доски. Насквозь прошло, а дыра получилась ладной, аккуратно под руку. Я руку и сунула. Пошарила, нащупала прута, который в ручки всунули, да и вытянула.

Вышла...

Пуст предбанничек.

Только дверь приоткрытая на ветру ходит, поскрипывает.

А одежда моя на пол брошена да сверху золою присыпана. Вот кошки лядашие! А еще боярского звания, крови царской. Иная холопка побрезгует этак пакостить! Ну ничего, вразумлю... так вразумлю, что мало не покажется.

И, простыночкой обернувшись, благо сыскались и простыночки, заботливой Марьяной Ивановной приготовленные, я из бани вышла. Далече идти не пришлось, оно и к лучшему. Когда б искала боярышек моих по всей-то веске⁸, глядишь, и поостыла б, а тут...

Сидят на лавочке курочками распрекрасными. И Егор-петух перья перед ними пушит, ногой скребет, квохчет чегой-то изящественное.

Маленка цветочки перебирает.

Щечки румянятся.

Глазки опущены.

⁸ Веска – деревня.

А сквозь ресницы нет-нет, но на Егора поглядывает. Тот и рад стараться, только пуще расходится, руками машет... Что, про житие свое расповедывает? Или подвиги бывшие?

Я губы поджала, прут, с которым вышла, перехватила поудобней и к лавочке направилась бодрым шагом. Девки-то, меня завидевши, обомлели.

А после заголосили.

Маленка, юбки подбравши, на лавку вскочила.

Любляна сомлела... почти сомлела и на лавку эту упала, растянулась, рученьку уронивши.

– Зослава, ты что? – Егор перед лавкой встал, плечи расправил, защищать, стало быть, собирается. Мыслю, до последней капли крови. Ага, нашел врага.

– Я ничего, – ответила и, прута в колечко согнувши, Егора рученькой-то отодвинула. Может, и воин он, и царевич, и магик, и всяко мужик, хоть не матерый, да немалый, но больно уж злая я была, чтоб возюкаться.

– Ты не посмеешь! – взвизгнула Маленка.

Посмею? Не посмею? Поглядим еще. Прута этого, кольцом гнutoго, я ей на шею воздела.

– Еще раз удумаешь так пакостить, то и затыну, – пообещала я, в глаза глядячи. Уж не ведаю, поверила она мне аль нет, но глаза эти нехорошо так блеснули.

– Зослава, что ты себе позволяешь!

Егор подскочил и в руку вцепился, дернул, силясь меня с места сдвинуть, да силы у него не те, вот у наставника, может, и вышло б...

– Зослава!

А мы с Маленкой стоим.

Глядим друг на друга.

– Совсем ваша холопка распустилась, – с кривоватой усмешечкой сказала она. – На людей кидается. А если в другой раз она этим прутом мне голову раскроит? Или Любляне, которая... ..застонала жалобно, да только за дорогу я к этим стонам попривыкла маленько, потому и не трогали больше они душеньку. Любляна глаза приоткрыла. Рученьку ко лбу прижала, точно проверяя, не укатилась ли куда головушка ейная.

Села.

– Зослава, немедленно извинись!

– Чего? – Я на Егора поглядела, он всерьез это? Стоит, руки в боки, глядит исподлобья, хмур да зол... Выходит, что всерьез.

Значится, как зелье за него варить да расписывать в работе полезные свойства трав, то тут я мила, а как перед боярыней хвост пушить, так Зослава враг?

– Это невыносимо...

Глаза Любляны слезами наполнились.

– За что нам это?

– Не волнуйся, дорогая... Наберись терпения. – Маленка с лавки соскочила, сестрицу за плечики приобняла, гладить стала да успокаивать, но так, чтоб Егор слышал. – Мы выдержим. Не такое выносить приходилось. А тут... ничего страшного. Подумаешь, девка... это ж не беда.

– Зослава... – Егор брови насупил.

– Я уже двадцать годочков скоро как Зослава! – Меня насупленными бровями не проймешь. Даже смешно становится. Неужто не видит он, что сии причитания – для его особы?

– Простите мою сестру. Она натерпелась, только решила, что... все позади, а тут снова. – Маленка на Егора глядит, да не прямо, будто бы искоса. Ресницы порхают, что крылья у бабочки.

На щечках румянец.

– Мы только-только обживаться начали...

В моем, за между прочим, доме.

– ...Как тут Илья требует, чтобы мы, все бросив, с ним отправлялись... и куда? Разве здесь место для девушки благородного рождения?

И рученькой так обвела.

А что? Деревня, она деревня и есть, хоть и запустелая. Дворы вот. Плоты покосившиеся. Дома темные. В иных и крыша провалами. Лебеда да бурьян. Оно, конечно, не терем, а все крыша над головой будет.

– Привез. Бросил... Сказал, обустраивайтесь. – Маленка это слово выплюнула и на слезиночку расщедрилась. Я прям залюбовалась таким скоморошеством, того и гляди сама поверю, что жизнь у них с сестрицей вовсе невыносимая. – А в доме-то грязища...

– Зось...

Егор на меня уставился. А чего я? Я за боярынями ходить не занималась. Об том и сказала.

– Коль не по нраву, пусть приберутся. – И тоже на него уставилась.

– Они ж не могут сами!

– Отчего? Неужто руками Божи́ня обидела?

– Видишь? – Маленка поближе к Егору подступила, за рученьку взяла, к плечу притупилась, что выюнок к стене. – И что нам делать?

Я хмыкнула.

Стоит царевич, столп столпом, только башкой крутит. Ведь понимает, поганец, что не в его силах меня прибираться заставить, ибо не имеет он надо мною власти, но и боярыням сего сказать, значит, в своем бессилии расписаться. А ему ж охота покрасоваться.

Защитником побыть.

Ага...

– Сперва пылюку вытрите, – сказала я, простынку поправляючи, – после влажной тряпичей протрите. Окна, коль свету охота, тоже помойте. Столы поскребите, лавки там... После уж пол мечь надобно. И помыть... Воду вам Егор принесет, верно?

Тот, дубина стоеросовая, и кивнул. Мол, конечно, принесу... После-то спохватился:

– Зослава!

– Чего? – Я на него гляжу и тоже ресницами хлопаю. Я ж не со зла, я ж советы даю.

За советы людей благодарить надобно, а у него прям-таки желваки ходят. Надобно чего-то сказать, а чего – он не ведает.

– Теперь ты видишь? – Зато Маленка за словесями в карман не лезла. – Она совсем страх потеряла... и совесть. Глумится над нами, над сестрицей моей, а той и без этой девки невыносимо... Она же... она...

И вновь зарыдала.

– Что за вода на ровном месте? – Откуда взялась Марьяна Ивановна, я не увидела. И не только я, потому как подскочили девки и Егор за шабелку схватился. – Скор ты, царевич... Аккуратней, а то порежешься еще. Лечи тебя потом.

Стоит старушка в летнике зеленом. Волосы седые платочком прикрыла, да хитро, концы платка надо лбом вывела, узелком завязала, а в узелок тот перо вставила птицы заморской, павлина сиречь.

На плечах шалька.

В руках спицы.

И те спицы скоренько так мелькают, накидывают петельку за петелькой, меняя лицевые с изнанкой. Ох и любопытственно мне стало, что за узор такой она сотворит, поглядеть бы на него хоть глазочком.

– Так о чем рыдаете, боярыньки? – молвила Марьяна Ивановна, впрочем, безо всякого почтения. – И ты, Зославушка, сказывай, что в виде таком непотребном по деревне разгуливаешь, мужиков в смущение вводишь...

Вот тут-то и я, и Егор про простыночку мою вспомнили да разом зарделись.

– Имущество, опять же, портишь. – Марьяна Ивановна спицей в прут мой, колесом гнутый, ткнула. – Кто ж тебя, сердечную, довел до страстей этаких?

– Они и довели...

– Врет! – поспешила откреститься Маленка.

– Они меня в парной заперли. – Я не стала выдумывать, не горазда я на фантазии. – Вот и осерчала немного.

– Хорошо, что немного, – закивала Марьяна Ивановна и на девок взгляд перевела. – Значит, в парной...

– Это не мы! – ожила Любляна, за сестрицу хватаясь. – Мы там и минутки не пробыли. Она... она...

– А вы иль не вы, это легко проверить. Сейчас кликнем Архипушку, чай, не откажется дознание провести, кто там чего творил. Сымет слепок, времени-то прошло немного...

– Она сама виновата! – Маленка сестрицыну руку стряхнула.

– Неужто? Сама себя заперла? – Спицы остановились.

– Нет, это глупо. Но мы озлились... Хамила она... все время хамила...

– И за хамство вы ее убить решили?

– Баней? – фыркнула Маленка. – Когда это магичку баней убить можно было? Мы же знали, что она выберется, так... признаю, глупо, но мне за сестру обидно! Она страдает...

И Любляна послушно захлопала носом, страдание, значит, выказывая. Слезы потекли по щекам, иные ручьи весной помельче будут. Егор налился краснотой, больно, стало быть, на слезы эти глядеть. Оно и верно, еще бабка моя сказывала, будто бы мужики до слез бабьих зело пужливые. Не все, но некоторые. Выходит, Егор из них.

– Ваша... Зослава, – а имя мое произнесла, что выплюнула, – ее жениха приворожила!

– Чего? – Вот тут уж я озлилась. Приворот – это ж не забава, а волшба запретная, пушай и не на крови, а все одно жизнь поломать способная.

И меня в том обвинять!

– А что, скажешь, не приворожила? Посмотрите, Любляна всем хороша! Да любой рад был бы ее женой назвать. Красива, умна, скромна... Роду хорошего. Царской крови! – Это она сказала громко, что наверняка все услышали, даже ворона старая, на крыше примостившаяся. – А этот... рабынич на нее не смотрит!

Вот и разобрались, чего им надобно. Хорош им Арей или плох? Ежель плох и недостойный царской крови, то чего страдать, что не смотрит? Вон, Егор смотрит, ажно заглядывается...

– Понятно. – Марьяна Ивановна спицы прибрала и на меня поглядела не то с насмешечкой, не то с жалостью. – Что ж вы, Зослава, чужих женихов привораживаете?

– Да я...

– А может, и правильно. Больше – не меньше. Устройте конкурс, будет из кого выбирать. Смеется она? Нет, конечно, не всерьез так...

– И вы ничего не предпримете? – возмутилась Маленка.

– Думаю, не предприиму, хотя, конечно, докладную составить следовало бы. Все же покушение на убийство...

И мне подмигнула.

– Да она издевается! – Маленка вцепилась в Егорову руку. – Ты-то понимаешь... Что нам делать?

И бровушки подняла.

– С женихом? – уточнила Марьяна Ивановна.

– С домом. – Маленка процедила это сквозь зубы. – Там грязно...

– Так уберитесь.

– Они же боярыни! – Егор на меня уставился, а я чего? Пушай глядит, авось дыры и не выглядит. – Они не могут...

– Раз не могут, пусть в грязи живут.

– Но Зослава...

Ага, как в бане палить, то меня, и как убираться, тоже меня... Нет уж, пушай сами.

– При чем тут Зослава? – Марьяна Ивановна спицами в Егора ткнула. – Если тебе так девок этих бестолковых жаль, то помоги.

Ведать не ведаю, мыл ли Егор полы, а вот ведра с водой таскал исправно.

Глава 7. Волчья ночная

Елисей с трудом дождался ночи.

– Ты... осторожней. – Еська присел рядышком. – Если собираешься за дурнем этим идти, то не один.

– Не собираюсь.

– Ну да...

Еська усмехнулся, дескать, так я и поверил. Но Елисею до веры его дела не было, снедало душу беспокойство. И главное, что собственный план там, на дороге, казавшийся донельзя разумным, теперь выглядел глупостью невероятной.

Нельзя было отпускать Ерему.

Он же... он человек.

Обыкновенный человек. А значит, слаб, как все люди, и... и что-то случилось. Ему помощь нужна была, а Елисей опять думал о себе.

Он тряхнул головой, избавляясь от мерзковатого шепоточка, который твердил, что Ерема сам уйти захотел. И дорогу выбрал. И Елисей ему на этой дороге не нужен. А если так, то стоит ли мешать? Нет, пусть уж уходит. Пусть затеряется на просторах Росского царства. Небось не пропадет.

Елисей забрался в душистую копну сена, и мыши, копошившиеся где-то внутри, затихли. Он закрыл глаза, зная, что не уснет. Он и не собирался спать.

Он ждал.

И другие тоже.

Вот Еська устроился на лавке под яблоней. Лег, небось руки за голову закинул, в зубы веточку сунул или травинку, грызет. Думает о своем, а о чем – поди-ка пойми. Да и неохота понимать, чужие мысли Елисея не занимали. Он лишь отметил запах Еськин, обеспокоенный, полынный.

А вот Егор хмур.

Бродит вдоль провисшего забора. Место не нравится? Здесь нехорошо, это верно, да, пожалуй, иного подходящего во всем царстве Росском не сыскать. Чужой сюда не попадет, а значит...

Надо бы до рассвета вернуться.

Елисей лишь убедится, что с бестолочью этой, братом кровным, ничего не произошло, что чутье его, то ли уже волкодлачье, то ли еще человеческое, обманывает.

Егор присел.

Затих?

Нет, рано еще. Сторожит? Елисея? Или боярынь? Нехорошие девки, падалью от них тянет, но, как ни приглядывался Елисей что своими глазами, что волчьими, дурного не увидел.

– Спишь? – поинтересовался Кирей, заползая в сено.

– Сплю.

– За Еремой пойдешь?

– Нет.

– Врешь. – Азарин вытянулся рядом, долговязый и пахнущий дымом. – Пойдешь... Не бойся, отговаривать не стану. И следом не попрошусь.

– Тогда зачем?

Елисей открыл левый глаз. Лежит азарин. Пялится в небо.

– Ишь, темное какое. Тут рядом болото... Может, сделаешь крюка, глянешь?

– А сам?

– Я воду не люблю.

– Егора попроси, он с водой ладит.

Кирей плечами пожал.

– Егор... он слабый.

– С чего это?

Егор был заносчив. И зануден по-своему. Но слаб...

– Слишком цепляется за свою родовитость. И... не знаю, если хочешь, считай это предчувствием... Егору недолго осталось.

– А тебе? – Елисей открыл и второй глаз. Азарин выглядел задумчивым.

– И мне немного. Плакать станешь?

Елисей пожал плечами. Что плакать о мертвых? От слез живые не станут.

– Так что загляни на болота, будь ласков, – повторил просьбу Кирей и со стога сполз.

Ночь пришла с востока.

Потянуло ветром холодным, который развеял мушиные тучи и принес гниловатый запах стоялой воды. Небо потемнело. Прорезались редкие звезды, отсюда мелкие и лишённые всякой красоты.

– Ужинать... – Зославин голос разнесся по деревне.

И Еська встал. Оглянулся на стог.

– Пойдешь?

Елисей не ответил. Если уж притворяться спящим, то до конца. Еська постоял и громко произнес:

– Как хочешь. А на сытый желудок бегать проще.

Это смотря кому. Есть вот не хотелось совершенно, скорее уж тело замерло в предчувствии чуда. Уже недолго осталось. Час? Два?

Человеческое понятие. Волки видят время иначе. Есть сейчас и есть потом.

Потом будет дорога.

Широкая, некогда наезженная, но давным-давно забытая людьми. Она, если прислушаться, сохранила какие-то запахи, лошадей ли, дерева или тех, кто жил здесь.

Песню завели боярыни, и голоса вроде бы ладные, спетые, а все одно дрожь пробирала. Вот присоединился к ним Егоров тяжеловатый бас, полетели по-над мертвыми домами. И человеческая часть Елисея сжалась от недоброго предчувствия, а волк внутри оскалился.

Небо темным-темно стало, звезды не сделались ярче, а ветерок ослаб, будто запутался меж брошенных дворов.

Елисей выбрался.

И, сняв рубаху, аккуратно сложил ее. Поставил сапоги. Завозился со штанами. Руки дрожали не то со страху, не то от предвкушения. Вот бы вовсе остаться в волчьей шкуре. Простая и понятная жизнь, но...

Дед говорил, что нельзя так. Разум утратишь.

Елисей снял нить-заговорку, повязанную братом, еще когда они оба верили, что простенький заговор и вправду от чего-то защитить способен.

А голоса стихли.

И зазвенело разбереженное явлением людей комарье.

Оборот получился легко. Елисей потянулся, отряхнулся и... вывернулся наизнанку, словно шуба. Зверь встал, настороженно прислушиваясь ко всему.

Шорохи.

Шепот.

Вздохи.

Запахи такие яркие, резкие даже.

Огромный, с теленка размером, волк черной масти скользнул во тьму. Он шел не то чтобы таясь, скорее, по привычке давней, дедом вбитой еще, держась в тени разваленных заборов. Благо и заборов, и теней в поселке было множество.

– Егорушка... ты такой... – Томный вздох заставил зверя замереть. И шерсть на загривке поднялась дыбом. – Ты единственный здесь, кому есть до нас дело.

От женщины пахло...

Падалышки... мерзкие твари, которые выются по следу, норовя лишить честной добычи. Слишком трусливые, чтобы решиться на честный бой. Слишком быстрые, верткие, чтобы поймать.

– Тебе лишь кажется...

– Кажется? – Ныне в голосе ее слышалось что-то, заставившее волка отступить. – Разве кажется мне, что нас с сестрой вытащили из терема, не спрось, желаем ли мы того? Закинули в какую-то телегу... А она больна! Она с трудом перенесла дорогу! И вот нас поселили... и где? Убогий грязный дом. Ты же видел.

– Ну...

Волк оскалился и отступил, не желая и дальше слушать чужие глупости. Он замер, ухватив новые запахи.

Еська. Сидит на лавочке, строгают что-то.

Евстигней ножи в старый забор метает, значит, и ему беспокойно. Спросить бы, в чем причина этого беспокойства, да...

– Погоди. – Емельян выступил из темноты. Он глядел на зверя без страха, и это было удивительно. – Вот, смотри. Я сделал... д-давно уже сделал.

Емельян заикался, как обычно, когда беспокоился, но сейчас Елисей не мог понять причины беспокойства. Он склонил голову и тихонько зарычал.

– Не пугай. Я знаю, что ты меня не тронешь.

Дед бы посмеялся.

Не тронет. Люди всегда были добычей. Легкой. Сладкой. И... и рот наполнился слюной, а Елисей с трудом избавился от желания вцепиться в белое близкое горло.

Он бы не успел закричать.

Он бы ничего не успел, доверчивый Емелька, который на мир глядел как на место чудесное, а никаких таких чудес в нем не было.

– Ты – это ты... и пусть они говорят что угодно, но я знаю, ты не такой, чтобы людей жрать. – Емелька протянул руку. И рык его не остановил. Белые пальцы коснулись морды.

И замерли, перехваченные зубами.

– Конечно, это ты, – с убеждением произнес Елисей. – И я хочу, чтобы ты собой остался. Я в одной книге прочел, что разум можно удержать... не позволить звериной натуре возобладать, да... Пояс княжича Всеслава...

Он протянул вторую руку.

– Он всегда его носил. А все знали, что княжич – волкодлак... Ему сделали пояс особый... и я узор перерисовал. Руны... старые руны...

Емелька говорил медленно, словно сомневаясь, будет ли понят. Елисей понимал. Про пояс. А про то, зачем ему этот пояс, так не очень. Он ведь свой разум не утратил.

Пока.

– Я понимаю, что тебе, м-может, это и не нужно... и еще, что у м-меня м-могло не получиться... я ведь только читал, но... возьми, пожалуйста. – Белая лента развернулась. И змеиным узором полыхнули на ней руны. – Правда, я не шил, а кровью рисовал, но... позволишь?

Елисей разжал зубы и наклонил голову, подставляя шею. Ошейник?

Дед бы расхохотался. А потом порвал бы горло наглецу, вздумавшему накинуть ошейник на волкодака. А Елисей... он просто стоял, позволяя названному брату завязывать ленту узлом. Тот же все возился.

– И возвращайся. Наши спорят, вернешься или нет... и можно ли тебе возвращаться. Но мне так думается... Надо, чтобы мы здесь вместе... Что грядет – не знаю. И никто не знает. Даже маги. Они меж собой разобраться не способны. А мы вот... мы поодиночке погибнем все. А если вместе будем, то шанс есть. Потом уже... потом уйдете, я не стану задерживать, и остальные не будут.

Теплые пальцы провели по загривку.

– Береги себя, Лис, – попросил Емелька, отступая в темень. – А я пока за остальными. С Егором вот неладно. Только он и слушать об этом не хочет, ты же понимаешь.

Елисей кивнул.

Лента на шее... Она не удерживала в разуме, она скорее обострила двойственность. Теперь Елисей четче, чем когда бы то ни было раньше, чувствовал себя человеком.

И волком.

И все-таки человеком, только в волчьем обличье. И это обличье желало бега.

Больше его никто не задерживал. Дорога была. Широка.

Плотна.

Заросла. Задичала. А все одно травам не скрыть ковра старых запахов. Вот железо и конский терпкий пот. Дерево. Старое. И свежее, роняющее редкие капли живицы. Тут сгружали сосновые стволы. А вот под ковром травяным клеймо старого кострища.

Нет, не эти запахи Елисею нужны.

Другие.

Вот он идет по следу. По своему следу... и не только по своему. Лошади и люди, каждый свою метку на дороге оставляет, да ей не впервой, ей даже в радость, что прошли они. Дороги для того и созданы... А вот и развилка, на которой он, Елисей, человеком будучи, попрощался с братом.

Вот след Еремин.

Коня гнал, не жалел... Зря, так далеко не уйти, падет конь, и тогда что? Поберег бы... Вот и перевел на широкую рысь. А мили через две и шагом идти позволил. От коня пахло усталостью, от Еремы... от Еремы плохо.

И волчья часть заскулила, не желая идти по следу.

Но разве Елисей мог себе позволить отступить? Он постоял над следом сапога, четким и ясным, будто нарочно оставленным в мокрой глине, раздумывая, как поступить.

Вернуться?

Рассказать Архипу Полуэктовичу?

Все одно тайны вскоре перестанут тайнами быть, так для чего маяться?

– А я уж заждался, братец дорогой. – Ерема сидел на поваленной березе. Левую ногу согнул, правую свесил. Покачивает. В руке – ветка-хлыст, которой Ерема по голенищу сапога, в глине измазанного, хлопает. – Ну здравствуй, что ли. Обниматься не стану, извини. Может, обернешься? С человеком как-то проще разговаривать.

Елисей покачал головой.

Может, и проще.

Да только и обмануть человека легче, чем волка.

– Экий ты, братец, неподатливый. – Ерема укоризненно поцокал языком.

Не Ерема.

Тело его.

Обличье.

А вот запах изменился, едва уловимо, но...

– Не поверил, значит? – Оно и не думало скрываться, голову наклонило, уставилось чужими равнодушными глазами. – Знаешь, как-то в прежней жизни не получалось у меня стелкаться с волкодлаками... живьем чтобы... Дохлых-то привозили. Мне они представлялись тварями, разумом не обремененными. Да, живучие, хитрые... Но в конечном счете тупые... Может, просто умные на вилы не попадались, а?

Елисей заворчал глухо.

– Да, да... понимаю, беседа получается несколько односторонней, хотя вопросов у тебя много накопилось. Например, чем вы заслужили такое? Ничем. Увы, ситуация такова, что сам я являюсь ее заложником.

Веточка хлестанула по ладони, сбивая комара.

– Я делал то, что было велено. А кем велено, о том сказать не могу, хотя, поверь, с превеликим удовольствием снял бы с этого человека шкуру. Может, все-таки обернешься? Клянусь, не трону...

Елисей ответил коротким рыком.

– Да, да... братцу моему я тоже клялся. И заметь, клятву исполнил! Я провел обряд... да, провел, в точности как было писано. Интересная магия, соединяет в себе и традиционные практики, и слегка – рунопись, и кое-что иное. Главное – обряд удался, верно?

Ерема спрыгнул.

И двигался он иначе. Легче. Мягче.

– Не переживай, он жив. Я просто поставил на нем метку, которая позволила мне занять это тело. Ты бы знал, до чего неудобно это. Пока приспособишься, обживешь... Новое тело натирает, куда там сапогам. И еще душенька вечно недовольна. Вот братца твоего взять. Сам дурак. А мечется. Страдает... И кому это надобно? Точно не мне. И назад возвращаться – не вариант. Не один он такой умный. Ты присядь, Елисеюшка... или как тебя звать? Не говорит... Вцепился, будто те имена и вправду хоть что-то да значат. Раскрою тебе, это всего-навсего поверье дурное, что, зная имя, матерью данное, можно вред причинить.

Он оскалился.

Ерема никогда не улыбался вот так, чтобы улыбка была страшной. И ветка в руке хрустнула, переламываясь.

– Вред можно и без имени причинить. Это дело недолгое... Присядь, сказал.

И Елисей сел.

Он и сидя в горло вцепится.

Или нет? Это ведь Еремино горло тоже.

– Сообразил? Вот так-то лучше. – Ерема остановился и наклонился, упираясь руками в колени. Он дыхнул в лицо жеваной мятой и слюну отер ладонью. – Хочешь получить братца живым? Или все-таки не так сильны в тебе родственные чувства, чтобы рисковать?

Глядит.

И Елисей на него.

В него.

В черноту чужих зрачков, в которых прячется чужая же душа. Брат, бестолочь, что же ты натворил-то? Почему не подошел? Почему не поделился? Знал, что Лис не согласится на этаким обмен? Или боялся, что не согласится? Ему ведь тоже нелегко приходилось, человеку волком себя чувствовать.

– А ведь он на это ради тебя пошел. Неужели бросишь?

Елисей оскалился.

– Вот и я думаю, что не бросишь. В этом была ее ошибка. Оставила вас вдвоем, решила, верно, что будете держаться друг друга. Только забыла, что не она одна этим крючком воспользоваться способна, да... – Он щелкнул зверя по носу. – Итак, дорогой, братец твой мне без надобности. В нем, конечно, весело, но я предпочитаю кого-то более... покорного? А то

неудобно и тело держать, и душу. Да... Так что отпущу, если сделаешь кое-что. Извини, обещаю, что это не причинит вреда, – тварь явно передразнила Ерему, – я не смогу. Причинит... но у тебя есть выбор.

От нее пахло холодом.

– Поэтому подумай, кто тебе дороже, родной брат или... те? Торопить не стану.

Елисей зарычал.

– А что ты должен будешь сделать? Все просто. – Ерема вытащил из кармана тоненький шнурок с привязанным к нему сушеным птичьим крылом. – Отнести и положить у ограды.

Ночью болото дышало туманом.

Влажный, он поднимался над осоками, над обманчиво зеленой гладью топи, которую кое-где прорывали черные дыры озерца. И здесь, в тумане, было как-то... спокойно?

Зверь лег, пусть просохший за день мох под тяжестью огромного тела его и опустился, пропитываясь холодной водой. Елисей прислушался.

Снова тишина.

Комарье вот звенит, но... пусто.

Нет кабаньих троп, хотя и болото это выглядит не столь уж топким. Ни следов лосиных, ни даже заячьих легких, а заяц – зверь такой, который и по болоту пройдет, что посуху. И птиц не слышать.

Странно это.

Но не пугает странность, скорее уж... здесь было спокойно.

И думалось хорошо.

Глава 8. О страстях ночных

Спалось мне на новом месте беспокойно.

Куда уж тут на женихов гадать? Я и не собиралась, да только все одно снились. Сперва Арей с боярынькой своей под руку. Сам-то важный, в кафтане парчовом, широким поясом перехваченном. На голове шапка каракулевая, а из нее – рога торчат, да такие, что и бык позавидует. Любяна же за рог держится так и перед Ареевым лицом колокольчиком потрясывает, аккуратно таким, которые скотине на шею вешают, чтоб не заблукала и хвори не ухватила.

Глянула она на меня этак с прищуром и молвила сладенько:

– Все одно моим будет. Видишь, привязала... – И колокольчик свой на шею Арееву закинула.

Я ей кулаком погрозила, а она только рассмеялась.

Да и сгинула, пылом⁹ стала.

Арей же оземь ударился, обернувшись не быком, но матерущим козлом с бородой до копыт. И скотина эта ко мне губы тянет. Дескать, поцелуй, и вновь в молодца оборочуся. Я ж стою, на это непотребство глядя, да и думаю: как же ж я с козлом целоваться стану? А если люди прознают? Вовек же ж не отмоюсь!

Глаза открыла.

Увидала над собой потолок грязный – не хватило часу его отскоблить – и свои рисунки, мелом малеванные, больше на каракули похожие, да и успокоилась.

Сон это.

Дурной.

Бывает со всеми. Повернулась на другой бок, одеяльце казенное, тонкое, натянула, да и вновь заснула. На сей раз предстал предо мною Кирей, правда, с головою отрезанной, которую он под рукой держал. И говорит та голова:

– Приставь меня к шее да мертвой водой полей...

Я ж ей и отвечаю:

– Приставить недолго, да только воды у меня ни капелюшечки не осталось. Давече борщ варила и всю-то извела.

Кирей же хмурится:

– Как ты, сущеглупая, додумалась на мертвой воде борщи варить? Погляди только, чего натворила!

Я обернулась.

Ох, и вправду, страх страшный! Стол дубовый, широченный. Казанок с борщом моим. Миски... И люди, над мисками застывшие. Вон Архип Полуэктович голову на стол уронил, на руки сцепленные, бел собой и нежив. Еська лежит и не шевелится. Лойко...

– Это все ты виновата! – Киреева голова скривилась да и плюнула на меня кровавою слюной.

Я и подскочила.

Нету ничегошеньки... пуста хата старая.

Крайнюю выбрала, благо было из чего. Полдня мыла-выметала, а все одно запустелым жильем пахнет. И свет лунный сквозь бычий пузырь пробивается, разливается по столу... пустой стол.

И казанок, в печи найденный, на нем стоит.

И никаких-то борщей, ни на мертвой воде варенных, ни обыкновенных.

⁹ Пыл – пыль.

Вздыхнула я, пот отерла – надо же, вся взопрела, будто бы не спала, а воевала... и вновь под одеяльце сховалась. Оно-то ныне сон навряд придет, место дурное, да хоть полежу вот, подумаю о своем. Завтра надо будет походить по округе, глядишь, и сыщется сон-трава, пары стебелечков под подушку хватит, чтоб отступили страсти всякие...

...и бабке отписаться.

Оно-то, конечно, письмецо это я не скоро отправлю, туточки почтарей нема, а все легче. Напишу бумаге, чего думаю, и как-то оно попускает...

Смежила глаза.

...нет Кирея. Нет Арея.

Но стоит предо мной дед давешний, из староверов, да глядит во все глаза. А у самого-то слепые, бельмяные, однако ж все одно ведаю, что видит он меня, неглядючи на слепоту.

От стоим мы.

И стоим.

Первою я не сдюжила. Поклонила до земли и молвила:

– Здраве будь, дедушка.

– Какой я тебе дедушка, – ответил он, скривившись. – От же ж... бабье глупое племя. Все от вас горести.

Зазря он так про баб. Небось не мужиком на свет рожден был. Да и Божиня – женщина она, хоть и божественной сути.

– А за такие мысли тебя б... – Он посохом своим по земле стукнул, да и содрогнулась земляца. Глаза ж бельмяные вспыхнули ярко, но и погасли. Закачался дед.

Застонал тяжко.

И упал бы, когда б не подхватила. А и тяжек-то дедок оказался! Даром, что глядится так, будто бы ветер унести его способный. Но с трудом удержала. Он же в мои руки вцепился, будто тонул, и, в глаза глядячи, заговорил:

– Не верь, девка, посулам сладким.

– Не верю, – отвечаю, – дедушка.

– Золото давать станут – откажись.

– Откажусь.

– Славу сулить...

– И от славы откажусь. Надобна она мне, что корове летник...

Усмехнулся он и руки стиснул, да так, что больно стало.

– Пугать будут...

– Пуганая ужо.

Кивнул.

И ладонь, раскрывши, ко лбу прижал. И от того горячо сделалось, страсть. Стою, не дышаю. А голова-то моя вся огнем пыхает.

– Терпи. – Дед же усмехается, и не дед вовсе, а мертвец живой. Стоит, костью за кость цепляется. Волос – пакля, кожа – тлен... и мертвечиной от него тянет. – Не бойся, девка, не трону, – оскалился он, да не отпустил меня. – Надобно так, чтобы уйти... я им соврал... сказал, что не было меня... был... был и видел... как вернулось зло и забрало всех.

Губы его – разверстая земля, из которой торчат белесые коренья зубов.

И до того мне страшно, что стою, шелохнуться неспособная. Он же говорит:

– Отступился я... отпустил одну... вот и вернулось... по вере воздалось, за малый грех – большим.

Я вспыхнула.

Я стояла и глядела на себя будто бы со стороны. И удивлялась, что горю, а боли нема. И что не боюсь вовсе сгореть. И что мертвяк, который пеплом рассыпаться стал, тоже не пугает. Напротив, жалко мне его, бедолажного.

Видать, ту жалость почуявши, дедок поднялся.

Отряхнулся.

Посбивал пыль с себя да и, воззавившись хмуро, посохом по земле стукнул, и так, что загудела земля медным тазом.

– Не дури, девка! – сказал он, бровь сурово хмуря. – Всех не нажалеешься.

А я ж не всех, я ж только тех, про кого ведаю.

Елисея вот.

И братца его бестолкового, который сбегчи вздумал и с того прочих в беспокойствие ввел. Кирея и нареченную евонную. Арея... Фрола Аксютовича с Люцианой Береславовной.

Себя тоже, хотя ж чего жалеть? Искала женихов... и нашла на голову свою. Чего мне с ними делать? Не со всеми, а с тем, который...

– Отпустить. – Дед ныне глядел строго. – Каждому Божиней свой срок отведен. И его вышел давно. А с того, что задержался он на это земле, никому добра нету.

Может, оно и так, но...

– Нет, девка, не о том думаешь. Душа, что птаха, после смерти в ирий летит, а там ей Божиня новое тело, новую судьбу вяжет. Привяжи птаху к дереву, к гнезду ее на зиму, и сгинет она от холода, от голода. Так и душа. Тело мертво, пусть бы трижды тридесать раз его подымали и чужою кровью поили. Но смерть – не собака, пинком не отгонишь. Все одно свое возьмет. И уже взяла.

Я разумела, что прав он, бельмоглазый дед, который ведал, об чем говорил.

И тот, который приходил ко мне, он ведь тоже желал лишь свободы.

И я обещалась.

Монету приняла. Слово дала. Только... как понять, кому эту свободу дать? И как?

– Корень-то у тебя проклятый есть? – вздохнул дед. – Тот, который черною жрицей даден был?

От же какие сны у меня премудрые. Есть, конечно. Все-то я с собой взяла. Иголки. Нитки шелковые, мало ли, что чинить придется – рубаху аль шкуру чью, все лучше шелка нету для этого дела. И ножнички махонькие, острующие.

И булавок.

И корешок тот, теткой Алевтиной даденный.

– Ему он не помеха. Мертвого тяжело убить. – Дед все ж отпустил меня и сам сел на лавочку. Огляделась я. От диво, только что были мы... а где-то были, где ничего, окромя нас самих, и не было, ныне ж глазом моргнул, и все переменялось.

Стоим...

Во дворе стоим.

Забор из ивовых прутьев плетен, низехонек, за таким только гусаков держать, да и то перемахнут, не запарятся. Травкой двор порос мелкой. Вон, малинник вдоль забора растянул колючие лапы.

– Тут я жил. – Дед по лавке рукой провел, нежно, будто живого кого гладил. – Сто годов... и еще столько ж... Божиня отмерила.

Он коснулся щепотью лба.

– А ты постой, девка, чай, ноги молодые...

Постою. Мне не в тягость.

Поглазею вот... на траву, в которой одуванчики рассыпаны щедро. Еще немного – и зацветут, выкинул белые шары детям на радость. Помнится, самое милое дело было – дуть, гадаючи, дед аль баба... я всегда дедов выдувала, то ли дула сильно, то ли попадалось так, что лысыми оставались головки одуванчиковые.

Вспомнила.

Вздыхнула.

На деда поглядела.

На хатку его со стенами белеными, гладенькими, с крышею, дранкой крытою. И стоит та хата, нарядна, светла оконцами. Ставенки резные. Крылечко горбатенько. У крылечка псинка свернулась махонькая, из тех, которых пустолайками величают.

Рыжевата.

Ушко драное, хвост бубличком.

Будто бы дремлет, да сон собачий чуток. Тронь – и очнется, зазвенит, хозяина о госте предупреждая.

– Хорошая у меня была жизнь, – сказал дед, на собачку глядячи с улыбкой. – Если и жалею о чем, то о слабости своей, которая всех сгубила... дитя невинное пожалел... да только предки наши не дураками были, небось тоже детей было жаль, да... она не пожалела, все жизни собрала. Гляди.

И увидела я деревню.

Большую деревню, аккурат, что Барсуки.

Тын, который от леса ее защищал. Дома. И побогаче, и победней. Дворы, снегом занесенные. Людей. Копошкались, у каждого дело свое... детвора бегают, ей холод нипочем. Собаки по будам попрятались. Кошка вот на плот забралась и сверху на людей поглядывает, да с усмешкой...

Я почувяла, как холодно стало вдруг, будто на солнце туча набежала.

И застыло оно.

Кошка только и успела, что глаза открыть, спину выгнуть с шипением, а после и упала замертво. Она шла по улице, простоволосая и босая, страшная, как сама Морана, вздумайся ей до людей сойти. Она протягивала руку и срывала жизнь за жизнью, не различая, чью берет, скотины аль человеческую.

Встал перед ней старик, посох поднял, да только она того и не заметила. Руку протянула, пальцы сжала, будто обнимая хрупкий стебелек травяной. Дернула.

И упал он.

Как попадали прочие...

– Моя в том вина, – сказал дед, взмахом руки стирая деревню. И дом его сгинул. И вновь мы оказались в старой хате, где я ночевать поставлена была. – И нету мне пути в ирий. Отказано мне в посмертии, пока не исправлю то, чего натворил. А сам я на то неспособный... поэтому слушай, девка, внимательно. Дважды повторять не стану.

Говорил он...

Хорошо говорил и меня заставлял повторять, чтоб, значит, каждое слово запомнила. Я-то во сне старалась, благо голова моя уже приспособилась всякую книжную премудрость ловить, а тут не то заклинание, не то молитва, а может, и одно и другое...

Глаза я разлупила с того сна, когда солнце уже через порог перебралось.

– Горазда ты, Зосенька, спать, – напротив лавки сидел Кирей и орешки перебирал. – Архип Полуэктович прям изволновался весь, где ж это Зослава наша.

– Здесь, – пробурчала я.

От неготовая я была к гостям, чтоб прямо и спозаранку. Сижу в одное рубаше, взопревшая от ночных страстей, лохматая, страшенная, как мара-призрак, которая к душегубам для усовестления оных является. Мыслею, что, ежели бы явилась к кому, точне усовестился б человек, душегубец он аль так, курей крал.

– Я вижу, что здесь. – Кирей орешек пальцами сдавил, чтоб шкарлупка треснула, и ее на пол кинул, иродище рогастое. Даром, что ль, я накануне полы эти мела-выметывала?

Я Кирею кулака показала, только он не усовестился, плечиком повел саженым да орешек в рот кинул.

– Лежишь, ни жива ни мертва... бужу – добудиться не могу. Даже целовать пытался.

– Тыфу на тебя!

От негоже честной девке да с утреча этакие ужасты сказывать!

– Не помогло...

Совести у Кирея было меньше, чем в свинье боярского гонору. Другая шкарлупка на пол полетела. И этакого непотребства я вынести не могла.

Встала.

Руки в боки вперла.

– Веник, – говорю, – там. – И в сторону печки пальцем указала. – Намусорил – подметай.

Кирей за пальцем моим головушку повернул, бровку приподнял. Еще б рогу поскреб, притворяючись, что не разумеет, об чем я туточки. Ага, как тайны и заговоры, так он поперед иных прется, а как пол мести, то и разом понимания лишается.

– И вот я подумал сперва, что надо бы кого на помощь кликнуть... а потом подумал, что, может, и лишнее это будет. – Кирей орехи в кошель ссыпал. – Что полежит Зослава и сама вернется. Чай, не трепетная она барышня, которая во снах заблудиться способна.

– Надобно тебе чего?

Я веника взяла и самолично Кирею поднесла. С поклоном протянула. Он вздумал было от этакое чести отказываться, да у меня не забалуешь.

Пришел.

Натоптал.

Орехов налузгал, пока я тут по снам гуляла, так будь добр хату до порядку довести.

– Надобно... – Кирей веник взял двумя пальцами с видом таким, что впору мне, девке сущеглупой, усовеститься крепко.

Не усовестились.

Он встал.

Вздохнул.

– Надобно переговорить... только не здесь... и еще, Зослава... скажи, как тебе спалось на новом месте? Чего снила?

– Тебя, – не стала я душою кривить. – С головой отрезанной... прочих мертвыми... или вот Арея с боярынькой этой...

Нахмурилась. Вот как бы не в руку сон этот случился.

– Ревнуешь? – поинтересовался Кирей и веничком по полу мазнул. Этак легонько, гладючи. Кто ж так метет-то? Пылюку одно гоняет.

– С чегой мне ревновать?

А сама-то хмурюсь, сон вспоминая. Не про первый бы мне думать, который одно глупство, но про второй, в коем упреждение видится. Не справлюсь, и все сгинуть.

– Не знаю...

– Ты мети-мети...

– Злая ты, Зослава... еще не поженились, а уже помыкаешь. Что ж после свадьбы-то будет? Даже сочувствую я племянничку...

И шась веником влево.

После вправо.

И вновь влево.

– А мы тут все сны видели... интересные... Елисей – как своим братьям горло рвет и в крови валяется... Емелька – что горит заживо... Евстя – медведя... и вот интересно мне стало, с какой такой напасти эти массовые кошмары приключились. Прежде я как-то особо чувствительным не был, а тут...

Спрашивать, чего ему снилось, я не стала.

Не расскажет.

– И вот подумалось, что неспроста это... я без сил. Емелька еле ноги тягает... а девицы наши, красавицы, с утра похорошели, порозовели... выются вокруг Егора.

Веником Кирей махал, что саблей, старательно да с оттягом, но чище с этое работы в хате не становилось. Я же косу переплетала.

В лицо водой студеною плеснула, которая найпервейшее средство от всяких бед и снов дурных. Рушником накрахмаленным да с шитьем узорчатым отерлась.

И так ответила:

– Может, конечно, оно все и так. – Я отошла за печь, на которую вчера еще занавесточку примостила, аккурат для этакого случая. Рубаху пропотевшую скинула, другую надела, чистую. Заместо летника – костюм еще тот, Киреем даренный, крепкий он и легкий, самое оно для лета. А что в портках, так я попривыкла. Небось коль и вправду будем нежить местную воевать, в портках всяко сподручней будет. – Только... недоказуемо.

Кирей разогнулся и пот со лба смахнул. То есть вид сделал, будто смахивает и притомился крепко. Огляделся.

Нахмурился.

А что он думал? Небось пол месь – не царствием править, тут сноровка нужна. Он же ж шкарлупки свои по всей хате раскинул. Матюкнулся и принялся руками собирать. Понял, что с хаты не выйдем, пока чисто не станет.

– Это верно, Зослава, но... вот вспомнилось мне, что в доме у тебя никто на дурные сны не жаловался.

– А ты откуда знаешь?

– Оттудова. – Шкарлупки он в ведро ссыпал. – Зосенька, душенька моя ненаглядная. Неужто ты и вправду решила, что я тебя без пригляду оставлю?

– Из дворни кто наушничал?

А кто ж еще... он же ж привел и ключницу, и девок в услужение боярынькам... и глупо было думать, что девки сии только служили. Но странное дело, обиды на Кирея не было. Знала, что не во зло он, а от беспокойствия. Хоть и строит рожу, дескать, царевич и над всеми властвовать будет, а живой человек.

– И вот думать я стал, почему так? Боялись они в городе разворачиваться? Сомнительно... твой терем – не царский, там за каждым вздохом не следят. А если и следят, то не те люди, которых опасаться стоит. И значит, в другом дело... скажем, в комнате, из которой твои гостыюшки дорогие носу высовывать не желали... или еще в узорах, которыми ты эту комнату размалевала, а поверху коврами прикрыла...

– И что?

Насупилась.

Дом-то мой, пушай и живут в нем кому ни попадя, что воровки, что боярыни опальные. А раз мой, то и имею полное право рисовать на стенах его хоть узоры, хоть дули с маком.

– Ничего. – Кирей поднял последнюю скорлупку. – Но может, ты и тут чего нарисуешь?

– Сбегут.

Это в столице им идти некуда было, хоть и ныли каждый день братцу своему, как тяжело им без родного дому да в гостях у хозяйки неприветливое. Туточки домов – десятку два, бери любой. Не все ж мне размалевывать.

– Это верно. – Скорлупку азарин подбросил да и в кошель уронил. – А ты не им рисуй. Ты нам рисуй. Вот честное слово, сбегать не станем...

– Вам?

– Нам... и тебе тоже. – Он обвел комнату взглядом. – Хорошо тут у тебя, Зослава, только... ты же сама понимаешь, что последнее это дело, без присмотра тебя оставлять. Когда один человек, то всякое произойти может, особенно в таком беспокойном месте... присядь.

И на всяк случай ухват от меня отодвинул.

А ухват хороший, крепкий еще. Я вчера отыскала, и котелков пяток, и даже погреба малого, в котором капуста квашеная осталась. Забродила, правда.

– То, что ты сегодня одна ночевала, это не просто плохо, это... – Кирей по столу ладонью лянул, да так, что стол загудел. – Это как нарочно выставить тебя... приманкой.

Сплюнул и ногой растер.

– Архип вчера на Марьяну так шипел, что весь мало не испилелся... не хотел, чтобы ты одна... а она ему ответила. Дескать, не твоего ума это дело... ты девок раздраконила, и если и вправду с ними не так что, то самое время вылезти поганой их натуре.

Вот оно как, значит, а я уж думала вчера грешным делом, что уговаривать станут, чтоб, значит, в одное хате с боярынями поселилась. Никто ж и словечка не сказал.

– Еще сказала, что ты не так проста. Что Люциана тебя не зря учила... и если чему-нибудь научила, то не войдут в дом.

– И не вошли.

Кирей руку протянул.

– Идем, – сказал.

Я и вложила свою. Пальцы у него твердые, что каменные. И рука горяча. Повел меня... повел за порог. И за хату. По двору, крапивой да полынью заросшему, сквозь заросли малины, которая ныне буяла и, цветом белым убранная, манила пчел.

Дома манила, ажно гудела вся, а над здешней только мошкара и вилась.

Кирей сквозь колючие кусты проскользнул, будто и не были они преградой. И меня провёл.

– Гляди, – указал он на оконце махонькое.

Этакое по ночному часу ставнями задвигают, закрываячи и тот малый свет, который оно пропустить способное. Махонькое окошко.

И крепко в раме сидит.

Пусть потемнело дерево, да все одно крепко. И на нем, потемневшем, черном почитай, видны хорошо длинные царапины-раны.

– Будто кошка скреблась. – Я такую царапину пальцем потрогала.

– Если и так, то крупная кошка.

Кирей руку мою выпустил и, пальцы растопыривши, на следы ее приложил. Мол, сама гляди, каковы туточки кошки. А я чего? Я ж, может, и не крепко ученая, а вижу, что у кошки это лапа пошире Киреевой руки.

– Может, Елисей? – с робкой надеждой спросила я.

От и не по себе сделалось.

Что за тварь туточки ночью гуливалa? И ведь не скажешь, будто не нынешней, вона, свежи царапины, бело дерево. А я ничегошеньки и не слыхала.

Спала.

– Ага, решил в гости заглянуть, да дверь потерял, – хмыкнул Кирей. – Нет, Зослава, тут другой зверь ходил... и что-то подсказывает мне, что повезло тебе крепко, что зверь этот двери не отыскал.

Я запиралась.

На засов.

А после, присевши, на полу мелом знак один начертила, про который мне Люциана Берславовна сказывала, будто бы запирает он почище засовов, и что с оным знаком гость незванный не войдет.

Не вошел...

...этою ночью. А другою, глядишь, и высадит оконце, коль уж дверь закрыта.

Кирей, видать, о том же подумал.

– Вернется он. Или она. Или они. Чем бы ни были, а все равно. – Он тряхнул головой. – И мне вот что странно, почему это я сюда явился, а не племянничек мой, которому бы у порога спать надлежало бы, покой твой стеречь...

Уши мои полыхнули.

А ведь и вправду... солнце ныне высоко. И где Арей? Отчего не беспокоился? Вот Архип Полуэктович Кирея прислал, а мой нареченный...

– Нет, Зослава, может, оно, конечно, и не положено так, но сегодня ты ночуешь с нами. Так оно мне спокойней будет, – молвил азарин и в дыру палец сунул.

Глава 9. О снах предивных

...Звенели медные браслеты на руках.

Плыли шелка, меняясь. Вот алый растянулся, огненный, вот скрылся под зеленою волной, а ту, в свою очередь, золотом припорошило.

Замерла дева.

Опали покрывала.

Встала она, прекрасная в своей нагоде.

Бела.

Точена.

Мягка каждой чертой. И диво, что сколько ни глядел Арей, а разглядеть лица не был способен.

– Нравлюсь! – Дева изогнулась, провела ладонями по животу плоскому, по бедрам. И рассмеялась звонко. – Нравлюсь!

– Нет.

– Себе-то не лги. – Она крутанулась на носочках, качнула широкими бедрами, и узел волос на голове распался. Рассыпались они драгоценным покрывалом, легли на покатые плечи, прикрыли тяжелую грудь. – Смотри. – Дева голову запрокинула. – За погляд денег не беру.

– Было бы на что...

Арей огляделся.

Где он?

В хате... выбрали самую большую после старостиной, где Архип Полуэктович остановился да Марьяна Ивановна, которая уже хату эту обжила. Занавесочки повесила, половички на полу разложила, пучки трав заговоренных развесила по четырем углам да подкову на прилоку.

Не обычную, само собой.

А студентам досталась хата попроще. Царевичи своим тесным кругом. Кирей, родственничек заклятый, с ними. Арею ж в компанию двое бояр самых что ни на есть родовитых. Вон, спят. Вытянулся на лавке Лойко, сон его беспокойный, вот и крутится, этак поутру и на пол сверзнется, может, там и поутихнет. А вот Ильюшка лег прямо, на спину...

– Будто покойник. – Дева подошла к нему и ладонь на голову положила. – А меж вас и вправду покойник имеется...

– Кто?

– Так я тебе и сказала! – Она рассмеялась звонко. – Поцелуй...

– Обойдешься.

– Грубый ты, добрый молодец... ко мне в дом пришел, а хамишь...

– Извини, завтра другой найду.

– Ты не понял. – Она тряхнула тяжелой гривой волос, и с них посыпались на пол золотые монеты. – Все тут мой дом, куда бы ни пошел.

– Кто ты?

Она пожала плечами и рученькой повела.

Исчез Лойко, который вновь пытался повернуться, да в стену коленями уперся. Сгинул бледный Илья, в позе этой, со сцепленными на груди руками, вправду на покойника похожий. Сама хата, пусть кое-как прибранная, но необжитая.

– Так мне больше нравится, – сказала девица.

Лежат ковры, золотыми узорами шиты. И подушки на них горами навалены, хоть махонькие, на которые разве что вишню спелую положить можно, хоть огромные. Стоят подносы

кованные. На подносах тех – вазы, что с фруктами всякими, иные Арей только в книгах и видел, а про других вовсе не слыхивал, что есть.

Музыка играет.

А музыкантов не видать.

Трогает незримый ветер тонкие занавеси...

– Хочешь? – Девушка, вновь в шелка обрядившаяся, правда, отчего-то выглядела она еще больше голой, чем была, – отщипнула виноградинку. Арей головой покачал – не станет он ничего есть в этом месте, которое то ли было, то ли не было. – Или, может, вина?

– Спасибо, воздержусь.

– Это же сон. – Она хитро прищурилась. – Всего-навсего сон...

– Тогда тем более смысла нет. – Арей сел на пухлую подушку и ноги скрестил, удивился тому, что сам он в прежней своей одежде.

– Если не по нраву...

Она щелкнула пальцами, и исчезли сапоги, а с ними и кафтан, и штаны, зато лег на плечи халат, змеями зелеными расшитый, пояс золоченый на животе затянулся, а на ноги сели сапоги из яловой кожи.

– Так лучше?

– Верни, как было. – Арей нахмурился. Все же меньше всего это на сон походило, а значит...

Кто она?

Ялуша, которая гораздо к спящим подбираться? Прикинется старой кошкой с глазами разноцветными, шмыгнет в постель, пристроится у груди и будет глядеть-выглядывать, вытягивать из спящего силы вместе с дыханием его? Нет, ялуши все больше кошмары приносят.

Сонница?

Эти любят девами прекрасными предстать. И сны навевают особого свойства. О таких снах целителям не рассказывают, стесняются. Да и не только в стеснении дело. Сонницы головы так заморочить горазды, что иные и просыпаться не желают.

– Погоди, маг. – Дева нахмурилась, когда Арей руки поднял. – Не спеши... я тебе пригожусь.

– Это навряд ли.

С сонницей Арей справится, не та у нее сила, чтобы против мага выстоять. И видать, совсем с голоду одурела, если решилась.

– Твоя правда. – Сгинули шелка и ковры, подушки, музыка. – Голодно мне... силы бы чутка, капельку... я ж никому зла не чинила.

Она ухватила за руки, сжала их с нечеловеческой силой. И полыхнули черным глаза.

– Я пригожусь! Поверь, маг... пригожусь.

Волосы закрубились дымом.

Из рта гнилью потянуло.

– Тут страшно, боярин... всем страшно... людей нет... Хозяева... не ушли они, а кем стали, то... дай мне силы капельку... Всего одну капельку! С тебя не убудет. В тебе огонь, я слышу... я вам помогу... подумай, маг... я ведь никому вреда не чинила.

Разве что высасывала досуха. Слышал Арей, что нередко случалось соннице из здорового мужика силы выпить, да за пару ночей.

– Так то сами... тебе вот мои прелести не по нраву пришлись... или, может, тебе белявые нравятся? – Она крутанулась и встала девкой пышнотелой, с волосом светлым, мягким. – Или чернявые... или рыжие?

– Прекрати, а то изгоню.

Арей сложил пальцы знаком.

– Здесь не изгонишь, – спокойно ответила сонница. – Сны – мое место.

– Ни один сон не длится вечно.

– Если не наведенный. – Сонница приняла обличье Любляны. – Или тебе другая по нраву? Наверное, удобно две невесты иметь... или не очень? Поди, грызутся меж собой? То ли дело мы с сестрами... когда живы они были, мы всегда всем делились. И мужчины были только рады. Почему ваши женщины так не могут?

Она села на грязный пол, скрестивши ноги. И смотрела снизу вверх с такой страстью, что у Арея поневоле горло перехватило. Этак... этак он и поддаться готов.

Сонница рассмеялась звонко.

– А вспомни, маг, ты ведь иной крови... не местный... и в вашем обычае не одну жену иметь. Так и клятву исполнишь, и отказываться ни от чего не надо.

– Погоди. – Арей тоже сел. Смотреть на нагую Любляну было... да, пожалуй, приятно. Себе он врат не привык. – Не спеши, рожденная лунным светом. И прими какое-нибудь другое обличье, иначе беседы у нас не выйдет.

Думал, сонница возражать станет.

Но она кивнула.

И провела ладонями по лицу, его стирая. А следом и прочее тело поплыло, и сгнула Любляна, а на месте ее девочка оказалась, худенькая, что тростинка, с глазами белесыми, лунного света полными.

– Когда-то давно здесь жили люди, – сказала сонница, а Арею подумалось, что не каждому выпадает увидеть истинное ее обличье. И радоваться он должен бы этаким чести. – А с ними рядом и Хозяева... и овинники, банники... прочий малый народ, который вы нечистью именуете, хотя иные из нас почище людей будут.

– И ты жила?

– Мы с сестрами. – Она скривилась, будто вот-вот заплачет. Из лунного глаза и вправду вытекла слеза, крупная, перламутровая, что жемчужина. Она упала на ладонь сонницы и жемчужиной стала. – Вот, возьми подарок.

Сонница протянула жемчужину.

– Она забрала и моих сестер... мы... баловались... с женщинами... с мужчинами... ты говоришь, что иных досуха выпивали, но это когда голод мучает. Нас не мучил. Мы брали сил, а взамен... мы ведь сны приносим не только те, от которых ты краснеешь. Снов много... мы дарили детям сказки... и отгоняли ягнуш с их темными кошмарами... сладкий сон младенцам. Невестам грезы. Мужчинам... у всех свои мечты. И мы исполняли их, взамен брали немного силы, немного тепла... если бы ты знал, как я замерзла.

Она задрожала.

– Помогите, маг... мои сестры сгнули... ночь за ночью мы были... держались друг за друга, но однажды старшая наша стала лунным светом, чтобы отдать нам свою силу... и потом еще одна... я самая младшая... они оживут, если позволить...

– Что здесь случилось?

Треугольное лицо сонницы исказила мука.

– Она пришла... зимой... ночи длинные... темные... сны сладкие... людям тепло, и мы рассказываем им о весне. Детям... у детей сны светлые... а она их забрала. Всех до одного. Вошла... и ворота не остановили.

Она больше не плакала, но худенькая фигурка ее истончалась, и Арей протянул руку. Было, конечно, глупо кормить нежить собственной силой, однако...

– Спасибо.

Сонница коснулась пальцев, и Арей ощутил явственный холод.

– Я просто голодна... она срезала жизнь за жизнью, и злой старик, к которому мы не решались подойти, а потому он давно не видел снов, ничего не сделал. Он поднял посох... мы очень боялись его посоха, но она лишь рассмеялась.

Острый язычок скользнул по губам.

– Потом сюда заглянули волки... и они говорили о сытой зиме, о мертвецах, которых им оставили на ближней поляне... о том, что не все мертвые остались мертвы.

Она задрожала, готовая рассыпаться лунным светом, но Арей протянул вторую руку.

– Мы же оказались заперты здесь... у нас нет ног. Или крыльев. А волкам не снятся сны, такие, чтобы мы могли спрятаться в них... мы лишь слушали, что говорят они.

– И что же говорят?

Силу она пила жадно.

И Арей чувствовал, как слабеет.

– Я... покажу тебе... я пыталась уйти и видела их глазами... я покажу... – шелестом листьев в ушах звучал голос сонницы. – Не противься... клянусь матерью-луной, что не причиню тебе вреда. Только и ты пообещай, что заберешь меня.

– Куда?

– Туда, где много людей.

Что ж, в столице людей много, глядишь, сыщется местечко и для сонницы.

– Хорошо... позволь теперь...

Она встала.

Прижалась. И во сне Арей ощутил горячее тонкое тело ее. Сонница же приложила раскрытые ладони к вискам его. Поднялась на цыпочки. И заглянула в глаза.

– Смотри, маг... и постарайся выжить.

Постарается...

Он проснулся с тяжелой головой и, лежа на жесткой лавке, долго не мог понять, где же находится. После вспомнил.

Дом.

И сонницу. И круг из древних камней, в котором ничего не росло, да что расти – и снег зимою в этот круг ложился неохотно.

Запах тлена.

Кровь.

И волчий звериный страх, от которого шерсть на загривке поднималась дыбом. Арей провел рукой по шее, убеждаясь, что за ночь шерсти там, вздыбленной аль нет, не выросло. Мотнул головой, избавляясь от наваждения. Поднялся... ухватился руками за лавку, потому как пол в избе вдруг покачнулся, готовый подняться, принять отяжелевшее вдруг тело.

Вот же... верь нежити.

– Плохо тебе? – раздался ласковый голосочек.

Арей вздрогнул и для верности себя за руку ущипнул. Боль от щипка была короткой, но и ее хватило бы, чтобы морок разрушить. А поскольку Любляна не исчезла, то следовало признать, мороком она не была. Дареная невестушка, чтоб ее, сидела на лавке, сложивши белые ручки на коленях. Сидела смиренхонько, глазки потупивши, зарумянившись – не девка, яблоко наливное. Только Арей подозревал, что с этого яблока у него скоро оскомины будут.

– Утра доброго, суженый, – ласковым голосочком пропела она и глазками стрельнула.

– И тебе... утра... доброго. – Арей голову потер.

Болела.

– Славно ли тебе спалось? – Любляна пальчиком по шитью провела, по дорожкам серебряным, по жемчужным островкам.

И кольнуло что-то в руке холодом.

Надо же... а думал – приблизилось. Или, верней, что сонницы нематериальны. А выходит... выходит, мало он пока знает. Пусть ныне и маг полновесный, но все одно гордиться нечем.

– Славно. Спасибо.

Арей кулак сжал. Что ему от этой жемчужины? Может, и ничего, может, пустое она, как все обещания нежити, а может, и пригодится.

– Что это у тебя там? – поинтересовалась Любляна и шею вытянула, силясь разглядеть.

– Ничего.

– Что-то есть? – Она соскочила с лавки. – Не хочешь показывать? Дело твое... я привыкла, что никому-то не нужна.

– Хватит. – Арей был не в том настроении, чтобы ныть слушать и уж тем более силой делиться. У самого почти не осталось.

– И кричишь... и не замечаешь...

– Ты уж определись, – хмыкнул он, – или кричу, или не замечаю.

Любляна губки поджала. Побледнела. И губу отставила, обиду выражая. Затрепетали ресницы, но к этим слезам Арей привык. Душою очерствел он, что ли? И Любляна поняла. А может, не она, но тварь, в ней сидящая, почуяла, что не будет поживы.

И если так, то зачем тратиться.

Любляна подошла к ведру, зачерпнула водицы ковшом и Арею поднесла:

– Испей. Полегчает. Батюшка наш, когда перебрать случалось, говаривал, что ничего нет лучше водицы колодезной.

И пить вдруг захотелось так, что зубы заломило. Только желание это было не его, не Ареево. И жемчужина в руке холодом опалила, упреждая о том.

– Спасибо, – сказал Арей не невестушке, которая на него глядела, что голодный на пряник, но соннице. За такое и силой поделиться не жаль, тем паче что сила вернется.

– Не за что... я готова о тебе заботиться.

Арей жемчужину в кошель опустил.

А ковшик с водицей на стол поставил. Подумал, что стоило бы вовсе вылить и ковшик, и ведро, из которого эту воду брали, но не стал.

– Послушай, Любляна...

Она вновь на лавку села, рученьки сложила, глядит... вот нехорошо так глядит, вроде и спокойно, а чутся за этим спокойствием гнев, который скрывают, да только сил нет вовсе упрятать.

– Не мила тебе, – усмехнулась она. – Ничего не говори. Не мила. И знаю, что девке этой обещался. Что ты в ней нашел? Ладно братец мой... его всегда отличала любовь к таким вот...

Она хлопнула себя по бокам.

– Чтобы тела побольше... сиськи...

– Прекрати.

Арей потер глаза.

– Не хочу. – Любляна глядела прямо, и теперь гнев ее, старый, что гной в ране, чувствовался. – Почему я должна прекращать? Почему я должна молчать? Смиряться? Позволять всем вокруг решать, что для меня лучше будет? Там, в тереме царском, кланяться беспрестанно, благодарить за милость, хотя какая это милость... жить, не зная, позволено ли тебе будет следующий рассвет увидеть.

– Рассвет? Или закат тебе милей?

Любляна оскалилась улыбкой. И черты лица ее исказились, почудилось, выглянуло из нее нечто... нечеловеческого свойства явно.

– Доложила? Или Ильюшка, братец наш разлюбезный? И теперь ты думаешь, что я – не человек, а тварь неведомая, в человеческом теле обосновавшаяся?

Арей сел за стол.

И руки на стол положил. Раскрыл ладони, чтоб видела она, что не станет чаровать. Раз уж выпало беседовать, то Арей побеседует. Глядишь, и договорится до чего-нибудь.

– Никто не знает, как было.

– Так Расскажи.

– Тебе?

– А хоть бы и мне, – сказал он, разглядывая невестушку иным взглядом. Смешно было думать, что прочие не глядели. Глядели. И взглядом. И камнем. И словом Божиным. Но не выглядели, иначе б... или... если б и выглядели, если б сочла царица, что надобно ей нелюдь в тереме, то и нелюдь пригрели б.

– Что, понимаешь? – Любляна голову набок склонила. – Она больше не кажется доброй и милосердной?

– Добрых и милосердных царей не бывает. Как и цариц.

– Хорошо, что ты это понял. А говорить... почему б и нет... да, я тебе неправду сказала... верней, не всю правду сказала... понадеялась, глупая, что ты мне поможешь... что вытатишь... я ж не знала, что эта девка тебе взаправду дорога. Скажи, случится с ней что, горевать сильно будешь?

– Голову тебе сверну.

– Не пугай. – Любляна пальчиком по щечке провела, а по следу алому, пальчиком этим оставленному, и слезинка скользнула хрустальная. – Всяк желает бедную девушку застращать... некому заступиться, некому...

– Или говори, или уходи.

Она слезинку смахнула.

– Первый год при нас жрец находился неотлучно. И пяток старух, которых блаженными почитают. Как по мне, обыкновенные, просто умом двинулись... ты не знаешь, каково это... Одна постоянно бормочет. Другая песни поет. Все воняют, потому что мыться – святость смыывать. И молишься, молишься, а им все мало, все поверить не способны, что нет от нас с сестрицею вреда... а главное, случится в тереме беда какая... не важно, к слову, хоть чирь на заднице, а все мы виноваты.

– Жалуешься?

Аррей все же флягу отыскал среди вещей. И, воды на полотенце плеснув, отер лицо. Полегчало.

– Брат твой где?

– Я ему не сторож... пришла, тут никого нет уже... только ты вот спишь сном беспробудным. Я тебя уже и звала, и за плечо трясла, а ты никак... вот и решила посидеть, поглядеть, что за беда... вдруг бы тебе помощь понадобилась.

Ишь, заботливая какая.

А все одно странно, что и Лойко, и Илья ушли, никому и слова не сказавши.

– Отец хотел, чтобы мы стали сильней... он знал, что она не оставит нас в покое. Как же, царская кровь, благословенная... проклятая, как по мне. – Любляна пальцами по косе провела, распуская. – Я бы отказалась, если б можно было... но кто ж меня спрашивал, где родиться?

– Опять жалуешься.

– Привычка. – Она не смутилась. – Я не нелюдь, Аррей. Я просто не совсем уже и человек. Помню, отец позвал меня вниз. Помню, как лежала на полу и плакала, умоляя меня отпустить... а потом стало холодно, и так холодно, что... я думала, насмерть замерзну. Потом... потом что-то было, но все как в тумане. Знаю, я делала не самые приятные вещи... или не я, но то, что в меня вселилось.

Она вздохнула.

– Отец как обезумел... или и вправду обезумел? Но все закончилось в один день. Я очнулась от боли, страшной боли, будто меня раздирали изнутри на мелкие клочки... потом жар... и холод... я едва не умерла, но очнулась. Кем? Сама не знаю. Знаю, что ее, той твари, больше нет... и что не будет... что я одна... почти одна, только вот Маленка, она способна понять, что

я чувствую, но лишь потому, что чувствует то же самое... мы вдвоем остались друг у друга, а все вокруг только и ждут повода, чтобы от нас избавиться.

Холод жемчуга Арей ощущал и сквозь ткань. Холод этот разбивал слезливый морок слов.

– От меня тебе что надо?

– Уж не жалости... а и вправду, скажи, чем она лучше меня? – Любляна поднялась, тряхнула головой, и волосы ее, медвяно-золотые, тяжелые, рассыпались по плечам. Летник вдруг соскользнул, и осталась боярыня в одной рубашке тончайшего полотна. – Неужели вовсе не по нраву?

– Оденсья. – Арей наклонился и летник подобрал.

Хмыкнул.

Тяжелый, что панцирь жучиный.

– Я ведь и вправду царской крови... и многое умею... мы бы хорошо зажили.

– Пока бы ты меня не сожрала.

– Надо же какой трусливый... – Любляна плечиком повела, и рубашка с плечика этого соскользнула. А Арею вдруг смешно стало: экий он манкий для нечисти, то одна выплясывала всю ночь, то другая утречком продолжила. Неужто иной заботы нету, кроме как честного мужика в соблазн вводить? – Да не трону я тебя... не трону... и сестрица моя... да, нам силы нужны, но разве мы кого до смерти извели?

– Это ты мне скажи.

А рубашка и ниже съехала.

Арей покачал головой и, летник протянувши, сказал:

– На вот, прикройся, а то застудишь чего...

– Людям обыкновенным с нами неуютно, твоя правда... а ты и не заметишь... я малость возьму...

– Одна уже взяла.

– Маленька? – Очи Любляны полыхнули. – Вот стервь! А обещала...

– Оденсья уже.

Арей повернулся спиной и, кинувши летник – боярыня его не взяла – на лавку, вышел. Он успел спуститься с крылечка, вдохнуть горячий воздух – ветер-суховея принес с восхода терпкий травяной запах – и потянуться. Захрустели кости, потянуло спину...

– Помогите! – Тонкий женский крик всколыхнул полуденное море.

А ведь солнце и вправду высоко поднялось.

Что-то заспался он.

Закружился с сонницей.

– Помогите! – Любляна вылетела на крылечко, сжимая кулачком полы разодранной рубахи. Белые полы разлетались. – Помогите! Кто-нибудь...

Волосы встрепаны.

Губы искусаны в кровь.

Из глаз слезы льются ручьями... и странно, что плачущая боярыня остается красивой.

– Помогите, – всхлипнула она, падая в пыль.

– И чем же тебе помочь, милая? – поинтересовалась Марьяна Ивановна, из малинника выбираясь.

Любляна ручку вытянула, на Арея указывая:

– Он... он... он меня...

И зашлась в рыданиях. Арей же почувствовал себя дураком.

Глава 10. Облыжная

– Я... – Любляна сидела на лавке, закутавшись в лоскутное старое покрывало. – Я решила зайти... словом перемолвиться... я думала... я верила...

Круглое личико.

Носик востренький.

Бровки светленьки. Кожа что парпор, ажно светится изнутри. И главное, слезы-то ее не портят. Я от, если пореветь вздумается, разом становлюсь страшна, что чудище из бестиарию. Нос пухнет и краснеет, глаза заплывают.

А эта...

Маленка сидит и сестрицу по плечико гладит. Да на Арея глядит так... вот как на насильника глядит.

– Он ведь... а он... – Любляна дрожащею ручкой слезу смахнула.

Егор нахмурился.

И к шабельке потянулся.

– Охолони. – Архип Полуэктович царевичу на плечико рученьку положил, да так, что плечико этое и прогнулось с Егором разом.

– Да как он...

– Вот и мне интересно, как он... – Марьяна Ивановна в уголочке устроилась со своим вязаньем. Спицы скачут, петлю за петлей сотворяя, и так ловко перекидывают, что я ажно и загляделась. – Средь бела дня... людей не побоялся.

И на Арея глянула.

Тот стоит.

Молчит.

Лицом закаменел. Оно и понятно, небось в таком обвинить – девку насильничать – не косу у соседа попортить.

– Ничего сказать не хочешь? – Марьяна Ивановна клубочек с колена на колено переложила. А шерсть-то крашена в алый, да хитро так, с одной стороны ярко, а с другой – блекленько. Вот и выходит вязание ейное рябеньким...

– Врет она, – процедил Арей сквозь зубы.

И Любляна слезами зашлась.

– Да как ты смеешь! – Зато Маленка молчать не стала. Подскочила и на Арея кинулась, застучала кулачками по евонной груди. – Сволочь! Скотина!

– Цыц! – Архип Полуэктович царевну за шкурку ухватил да поднял, тряхнул легонько. – Значится, будем разбирательство учинять? Обвинение-то серьезное...

И на Люблянину глядит. А та только слезы смахнула и кивнула, мол, разбирайтесь.

– Если он и вправду...

– Пусть женится, – сказала Маленка, из-под руки наставника выворачиваясь. – Опозорил сестру, пусть теперь...

– Женится, значит? – Архип Полуэктович этак бровку приподнял, удивление выражая. – И вы не против того, чтобы сестру родную в жены насильнику отдать?

– А кому она теперь, опозоренная, нужна? – Маленка села рядышком с Любляной и приобняла. – Не переживай, дорогая... все будет хорошо.

У кого, интересно знать? Я Кирееву руку – придерживал меня, болезный, опасаячись, что сотворю чего неладного, – с плечика-то скинула и к Арею подошла. Взяла за руку.

– Не ведаю, – сказала, на Маленку глядя, – чего ты с сестрицею задумала, да только Арея обвинять облыжно не позволю.

– Тише, Зославушка. – Марьяна Ивановна спицы собрала да в клубочек воткнула. Этак воткнула, что ажно Архип Полуэктович подскочил и на шажок отодвинулся. – Мы пока никого не обвиняем... мы попытаемся разобраться, что же произошло. Это не так сложно, думаю, будет. Слепок...

– Не получится. – Любляна из складок одеяла руку выпростала, ладошку раскрыла, а в ней камушек блеснул рыбьим желтым глазом. – Он сделал так, что...

– Ничего не делал...

Аррей шагнул бы к невестушке, чую, что едва держится, чтоб не полыхнуть. И я за руку вцепилась. А с другого боку Еська стал да Арея приобнял, будто друга дорогого найпервейшего. Кирей ближей пододвинулся.

Егор вот в сторонку отошел.

Илья на сестриц глядит и хмурится, однако же как встал у дверей, так и стоит, шелохнуться боится. И главное, что мнится мне, будто бы были мы вместе, а ныне пусть еще не порознь, но близко к тому.

– Значит, слепки подтерли... – Марьяна Ивановна спицы погладила. – Разумная предосторожность... только, полагаю, они нам без надобности. Скажи, красавица, отчего ты на помощь не звала?

Вспыхнули щеки Любляны.

И побледнели.

– Звала, – ответила за сестрицу Маленка. – Но не дозвалась. Он купол поставил.

– Купол... интересно... вот, погляди, Архипушка, ты намерен жаловаться, что студиозус не тот пошел, а выпускникам до нас далече... но вспомню тебя... сумел бы ты полог поставить, да и вовсе чаровать так, чтоб ни одну ниточку охранной сети не задеть?

– Я и сейчас так навряд ли смогу... – Архип Полуэктович на боярынек наших взирал сверху вниз. И ведаю я, что умеет он глядеть, да так, что от этого погляду из шкуры выскочить охота.

Поежилась Любляна.

И Маленка насупилась.

– Вы все заодно!

– За одно, за другое. – Марьяна Ивановна поднялась и огладила передничек белый, поверх летнику нарядного накинутый. – Не в том дело, деточка... пойдем-ка, осмотрим сестрицу твою... она, чай, отбивалась?

Любляна кивнула, но неуверенно.

– И значит, следы остались бы... скажем, покажи-ка, милая, рученьки свои... кожа-то у тебя нежная, белая... такую тронь, и враз синец вскочит... а у меня мазь есть свинцовая, разом снимет... если есть, что снимать.

Любляна в покрывало укуталась.

А ведь чистые у нее рученьки. Я видела. И... и хоть ни на мгновение не поверила, будто Аррей на этакое способный, но все одно легче стало, камень с души упал. Я-то верю, да тут не только я... вона, Егор взгляд переводит от Арея до Любляны, не зная, кому верить.

– Он... он... сделал так, что...

Любляна запнулась, не знаячи, что сказать.

– Значит, вылечил?

– Исцелил...

– Экий он добрый... и пряткий... а главное, талантливый. Архипушка, я ж тебе говорила, недооцениваешь ты молодежь... и сеть тревожную не тронул, и исцелил во мгновение ока... я уж сколько живу, а все одно... нет, можно, конечно, синец за четверть часу свести, но сил на то уйдет немерено.

Марьяна Ивановна головой покачала.

А после спросила:

– Может, хоть кровь осталась?

– К-какая? – Любляна лицом побурела.

– Та, которую девка честная на брачном ложе оставляет... или ее он тоже застирал? Магическим образом? – Марьяна Ивановна не сдержалась, хихикнула. – А простыню и высушил опосля... хозяйственный...

А мне вот вовсе не весело было. Вцепилась, подлюга, в моего жениха да знать не желает, что не мила она ему. Не мытьем, так катаньем своего добивается. Вона, не постыдилась на весь мир опозорить...

– Ничего сказать не хотите? – прогудел Архип Полуэктович, и так недобро, что хоть и была я невинная кругом, а присела да подумала, что нынешним часом у меня всяко-разных дел имеется, окромя того, чтоб туточки стоять да пустые разговоры слушать.

– Вы все заодно! – вскинулась Маленка. – Моя сестра теперь... как ей жить? Опозоренной. Брошенной.

– Хватит. – Ильюшка от стеночки отлип. – Это вы меня позорите... два дня и две глупые выходки. Я не понимаю, чем вы думали... как вы думали... вы же...

Он рукой махнул и к наставнику повернулся:

– Архип Полуэктович, возможно ли запереть их? В противном случае подозреваю, что все мы здесь увязнем в пустых разбирательствах. Я не представляю, зачем им это надо.

– Силы, дорогой. – Марьяна Ивановна обошла боярыnek и, рученьки подняв, тряхнула. – Силы и эмоции... они у тебя до чужих эмоций жадные. Вот Арейка весь извелся, того и гляди полыхнет. Ему-то с этого обвинения радости немного. Егорушка злится... только сам понять не способный, на кого ж он зол. Еська беспокоен. Зослава в косы этой, прости Божиня, невестушке вцепиться готовая. Это живые эмоции. Сладкие. Так, девоньки?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.